

УРАЛЬСКИЙ

Следопыт

9 '89

Море зовет!

После того как крупнейшие парусники мира «Седов» и «Крузенштерн», ходившие под флагом Гидрографического управления ВМФ, были отданы рыбакам и обосновались в Риге, не имел Ленинград, город корабелов и мореходов, своего парусного судна. Добавим: крупного парусного судна, так как еще жива немагнитная шхуна «Заря», а лет шестнадцать назад совершала рейсы учебная шхуна «Кодор», и баркентина «Сириус» еще не превратилась в плавресторан «Кронверк».

И вот, через шестнадцать лет, город, имеющий в своем гербе силуэт парусника, обрел его в реальном воплощении. Для Высшего инженерного мореходного училища польскими корабелами был построен и спущен на воду фрегат «Мир» (типа «Дружба» — второй корабль этой серии). Наибольшая длина фрегата 109,4 м, ширина 14,0 м, площадь основных парусов — 2881 м², два дизеля мощностью 420 кВт обеспечивают скорость 12 узлов.

Якутия, Новосибирск, Урал...

Из многих мест, дальних и ближних, приезжают ребята в Ленинград, чтобы стать моряками. Встретив их на палубе фрегата и заглянув в счастливые глаза, понимаешь, что мечта сбывается в наилучшем варианте. Еще бы, о паруснике они не могли и думать, а тут!.. Тут и походы, и авралы, и участие в регатах, встречи с людьми, а значит — обретение первого морского опыта, опыта высшей пробы, который дается только на палубе, только на мачтах парусного судна.

Лариса Анкудинова

Фото автора



УРАЛЬСКИЙ

Следопыт



9 '89

В НОМЕРЕ:

Ю. Курочкин	
ОПАЛЬНЫЕ НЕВЕСТЫ	2
Р. Буруковский	
ОБ ОДНОМ ПРОВИНЦИАЛЬНОМ МУЗЕЕ	8
В. Шапко	
СЧАСТЬЯ МАЛЕНЬКИЙ БАУЛЬЧИК. Повесть. Начало	11
В. Носков	
НОВЕЛЛЫ О ПРИРОДЕ	27
Б. Харанаули, Д. Маградзе, Б. Арабаули, О. Турманаули	
МИНУТЫ И МГНОВЕНИЯ. Стихи	31
В. Селегей	
СИБИРЬ: ДИАГНОЗ ЯСЕН, ПОРА РЕШАТЬ	32
В. Галюдкин, А. Перевалов	
СТИХИ	34

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «АЭЛИТА»

С. Другаль	
ЯЗЫЧНИКИ. Повесть. Окончание	35

М. Бураков	
Я БЕЗЗАВЕТНО В ПАМЯТИ ХРАНЮ... Стихи	63
А. Лейфер	
ДРУГ МОЛОДОСТИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО	64
Б. Вайсберг	
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЕТЧИК ЯНКОВСКИЙ	65
Л. Богоявленский	
КОРИАНДР, ЛАГЕНАРИЯ, БАКЛАЖАНЫ И ДРУГИЕ	67
Ю. Окунцов	
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ КОМИССАРА МАЛЫШЕВА	68
Б. Борисов	
БРАТ КОСМОНАВТА	69
Ю. Шинкаренко	
БОЙСЯ БАНТА НА ШЕЕ...	71
Г. Дробиз	
ОВОУ НА ПЛАНЕТЕ ТАРАРУМ	75
К. Мелихан	
КОРОЛЬ	76
Б. Матюнин	
ВЫРУЧАЙТЕ, ДЯДЯ	77
Н. Широкова	
СЮРПРИЗЫ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ	78

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
СВЕРДЛОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
И СВЕРДЛОВСКОГО
ОБКОМА ВЛКСМ

ИЗДАЕТСЯ
С АПРЕЛЯ 1958 ГОДА

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Редакционная коллегия:

Станислав МЕШАВКИН
(главный редактор),
Евгений АНАНЬЕВ,
Виктор АСТАФЬЕВ,
Виталий БУГРОВ,
Муса ГАЛИ,
Юний ГОРБУНОВ,
Герман ИВАНОВ,
Сергей КАЗАНЦЕВ
[ответственный секретарь],
Владислав КРАПИВИН,
Юрий КУРОЧКИН,
Давид ЛИВШИЦ
[заместитель главного
редактора],
Николай НИКОНОВ,
Олег ПОСКРЕБЫШЕВ,
Анатолий СЕМЕРУН,
Константин СКВОРЦОВ,
Аркадий СТРУГАЦКИЙ

Художественный редактор
Евгений ПИНАЕВ
Технический редактор
Людмила БУДРИНА
Корректор
Майя БУРАНГУЛОВА

Адрес редакции:
620219, г. Свердловск,
ГСП-353, ул. 8 Марта, 22-в
Телефоны отделов:
22-36-62 (прозы и поэзии)
22-45-01 (фантастики,
краеведения)
22-10-74 (публицистики,
молодежных проблем)
22-04-81 (секретариат,
науки и техники, писем)

Рукописи принимаются перепечатанными на машинке через 2 интервала, 60 знаков в строке, 28—30 строк на странице.

По вопросам подписки и доставки обращайтесь в районные отделения «Союзпечати». Бракованные экземпляры отправлять в типографию издательства «Уральский рабочий».

Сдано в набор 09.06.89.
Подписано к печати 26.07.89.
НС 15168.
Формат бумаги 84×108¹/₁₆.
Бумага типографская № 2.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 8,82.
Уч.-изд. л. 12,5.
Усл.-кр. отт. 11,76.
Тираж 494 000.
(1-й завод: 1—250 000).
Заказ 457.
Цена 40 коп.
Типография издательства
«Уральский рабочий».
620219, г. Свердловск,
пр. Ленина, 49.

На 1-й стр. обложки: «Осенний натюрморт». Фото Олега Капорейко.



ОПАЛЬНЫЕ НЕВЕСТЫ

Юрий КУРОЧКИН

Рис. Сергея Мальшева

ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ СЛУЧАЙ СВЕЛ МЕНЯ С ТОМИКОМ ДРАМ
ЛЬВА МЕЯ, НЫНЕ, К СОЖАЛЕНИЮ, МАЛО ИЗВЕСТНОГО РУС-
СКОГО ПИСАТЕЛЯ — ПОЭТА, ДРАМАТУРГА, ПЕРЕВОДЧИКА.
ОСОБЕННО ПОЛЮБИЛАСЬ «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА», КОТОРУЮ
Я ПОТОМ НЕ РАЗ ЧИТАЛ И ПЕРЕЧИТЫВАЛ, УКРАДКОЙ СМА-
ХИВАЯ НЕПРОШЕННУЮ СЛЕЗУ, КАЗАВШУЮСЯ НЕДОСТОЙ-
НОЙ ПОКЛОННИКА ОВОДА И ЧИНГАЧУКА. ВПРОЧЕМ, ПО-
ЧЕМУ НЕДОСТОЙНОЙ, ОПРАВДЫВАЛ Я СЕБЯ, РАЗВЕ СВО-
БОДОЛЮБИВОГО ИТАЛЬЯНСКОГО КАРБОНАРИЯ И МУЖЕСТ-
ВЕННОГО ИНДЕЙСКОГО ВОЖДА НЕ ТРОНУЛА БЫ ГОРЬ-
КАЯ СУДЬБА МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ, ИМЕВШЕЙ НЕСЧА-

СТЬЕ ПОПАСТЬ В ПАУТИНУ ЧУЖИХ ИНТРИГ? ИСТОРИЯ
БОЯРСКОЙ ДОЧЕРИ МАРФЫ САБАКИНОЙ ТРОГАЛА ДУШУ И
ПОЗЖЕ, КОГДА СТАЛ ПОКЛОННИКОМ ОПЕРЫ РИМСКОГО-
КОРСАКОВА НА ТОТ ЖЕ СЮЖЕТ, И СЛАВА БОГУ, ЧТО ТРО-
ГАЛА — ЧЕРСТВОСТЬ ДУШЕВНАЯ НИКОГО НЕ УКРАШАЕТ.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ДРАМУ И СЛУШАЯ ОПЕРУ, Я ДОЛГОЕ
ВРЕМЯ И НЕ ПОДОЗРЕВАЛ, ЧТО МОЙ РОДНОЙ КРАЙ СТАЛ
В КАКИЕ-ТО ГОДЫ ПРИСТАНИЩЕМ ДЛЯ ОПАЛЬНОЙ ЦАР-
СКОЙ НЕВЕСТЫ, И ДАЖЕ НЕ ОДНОЙ. ИНЫЕ ИЗ НИХ ВЕР-
НУЛИСЬ К СВОИМ РОДНЫМ МЕСТАМ, А ДРУГИЕ НАШЛИ
ЗДЕСЬ ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ.

Первой из них появилась в нашем, тогда еще мало обжитом крае Мария Хлопова, невеста первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича. И было это осенью 1616 года...

Когда гонец привез в Тобольск царскую грамоту о ссылке в сей город семье покойного боярина Желябужского, воеводе князю Ивану Семеновичу Куракину пришлось задуматься. Ссыленье в Тобольске, городе хоть и молодом (всего три десятилетия), — не редкость: по отдаленности и суровости своей весьма удобен для содержания опальных людишек. И меняются они часто — как и власти в столице в последние годы: один правитель сойдет, а другой возвратит. Да и сам князь тут, почитай, в ссылке: в Смутное время держался польских интересов, поэтому при новом царе убрал с глаз подальше, хоть и ценили его как опытного военачальника. Знал князь (не так давно и сам из Москвы), что молодой государь собирается жениться, все говорили, что на княжне Долгорукой, о Хлоповой тогда и речи не было. И — при чем тут Желябужские?..

Кстати вспомнить, что один из этого рода, Григорий Григорьевич, полтора десятка лет назад, в 1601 году, разбил здесь войско хана Кучума, чем и поставил последнюю точку в долгой и трудной борьбе с ним. Правда, другой их родич, Яков Желябужский, известен другим — лет десять назад, в 1608 году, уличен был в интриге против тогдашнего царя Василия Шуйского и поплатился за это головой. Но этих-то за что? Всей семьей: Ивана с женой, да брата его Александра, да мать ихнюю старуху, да внучку ее, а братьям племяннику — Марью, дочь боярина Ивана Хлопова.

Нет, прикидывал про себя воевода, тут что-то не так, с них опалу, пожалуй, скоро не снимут. А ему, князю, надо грехи перед Москвой замалчивать, новому царю потрафить. И чтоб не прошибиться, отвел изгнанникам избу попроще, довольствие определил поскуднее, челяди приказал шапки перед ними не ломать, держать в строгости, из города чтоб никуда не отлучались, да и в городе без дела не болтались. А челядь, холопы их души, рады выслужиться, не стеснялись в притеснениях и глумлении. Семье оставалось лишь молча терпеть да бога молить о милостях его. Кто вздыхал горько, кто скрипел зубами, кто украдкой ронял тихую слезу, но молчали, стараясь лишний раз на глаза не показываться.

И потянулись однообразной чередой невеселые опальные денки. Томительно длинными бездельными вечерами при свете лучины каждый по-своему обдумывал причины свалившейся беды.

Три года назад сел на престол царь Михаил Федорович, молодой боярин из рода Романовых. Много ждали от нового царствования, надеялись, что установится долгожданный порядок в государстве, измотанном смутами и вражескими вторжениями, — ведь после кончины блажененького Федора Иоанновича, последнего царя из рода Рюриковичей, столько лет не было надежного государя. То неправдой надевший на себя шапку Мономаха шурин царя Борис Годунов, которого молва считала убийцей царевича Дмитрия, наследника престола. То беглый мних Гришка Отрепьев, дерзнувший самозванно принять имя убитого царевича и призвавший на Русь ляхов в качестве своей опоры. То посаженный боярами, но не оправдавший их надежд хитрый и коварный Василий Шуйский. А потом еще один самозванный Дмитрий, прозванный Тушинским вором за то, что устроил себе в сельце Тушине как бы столицу и отсиживался в ней почти два года, в надежде прорваться в Москву.

Лишь к 1612 году народное ополчение под водительством нижегородца Козьмы Минина и князя Пожарского выгнало из Москвы и ее окрестностей поляков и предоставило Земскому собору решать, кому теперь быть царем на Руси. Больше года раздумывали и спорили бояре, плели интриги, выискивали в своих поколенных росписях приметы родства с прежней династией, а в чужих — приметы измены престолу и отечеству и прочие грехи. Хоте-

лось на трон многим, но допрежь всего все же прикидывали не только высокое родство, но и то, за кем какая сила стоит, какие связи, особенно с воинством, с казаками украинскими, вольными людьми, да и служилых надо брать в расчет.

И тогда выходило, что подходящее всего бояре Романовы. И род древний, и родство с Рюриковичами недалекое, и опора у них прочная: нынешний глава рода митрополит Филарет (в миру Федор Никитич Романов) имеет вес и у воинов, и у казаков, и в Земском соборе у него немало сподвижников по бывлым ратным и мирским делам. Короче говоря, к началу 1613 года Собор пришел к решению почти единодушному — быть на троне Романовым.

Но кому? Филарет — в духовном звании, ему царем быть нельзя и ко всему прочему — нет его в России, в плену он у ляхов.

Зато (и на это был расчет у Собора) есть у Филарета сын — Михаил. Совсем еще юноша, семнадцати лет, да и болезненный, в детстве лошадь зашибла, ногами мается. Но, может, это и лучше — смекали про себя бояре на Земском соборе. Пока Филарет не вернется из плена и не станет вершить дела от имени сына (а на это и рассчитывали на Соборе), можно и боярской верхушке поплавать сообща при неопытном еще государе, в надежде обрести новые чины и вотчины.

И вот в феврале 1613 года в Ипатьевский монастырь под Костромой, где жили в смутные годы Михаил с матерью, инокиней Марфой, прибыли послы: князь Владимир Иванович Бахтияров-Ростовский, да епископ Феодорит, да окольничий Федор Головин, да келарь Авраамий Палицын, да свита с ними достойная. И пали Михаилу с матерью в ноги — будь царем!

Для юного монастырского затворника, далекого от государственных дел, еще и света-то не видевшего, это, вероятно, было неожиданностью и он едва ли понимал, чего от него хотят важные бояре, и едва ли представлял себя в роли правителя великой страны. Зато мать-инокия, наученная опытом вероломства придворных камариллий, сама при этом потерпевшая, истерично вцепилась в сына, защищая его, словно насадка цыпленка. Она хорошо помнила, как при Борисе Годунове сына ребенком отняли от нее, когда насильно постригли в монахи и услали в далекий монастырь без родного дитяти. Лишь через пять лет, при Самозванце, удалось его, уже десятилетнего отрока, принять снова под крыло свое.

Уговоры были долгими и трудными, но увенчались успехом. Обе стороны изощрялись в дипломатии: послам хотелось вызвать вероятные претензии хитрой инокини, а ее в свою очередь интересовали возможные осложнения при переходе власти к Романовым — не дай бог, до новой смуты не дошло бы... Убедившись, что все складывается в их пользу, Марфа благословила сына. Вскоре они переехали в Москву, и в июне нового года царя уже короновали в Успенском соборе Кремля.

Правда, с первых же дней нового царствования выяснилось, что бояре недооценили тайных замыслов Марфы и возможной роли ее в новых обстоятельствах. Непроста оказалась инокия! Пользуясь молодостью и слабованием Михаила, она оттеснила от царя старых советников и сама прибрала к рукам бразды правления. В силу вошли ее племянники Салтыковы, люди, жадные до власти и до обогащения, мздоимцы. В стране стал править, по сути дела, не «государев двор», а Марфа с «салтыками и салтычатами», как их называли в народе.

Желая еще больше и вернее укрепить свои позиции, она в 1616 году задумала женить сына на княжне Долгорукой, представительнице древнего, знатного и богатого и чем-то очень необходимого ей в придворной борьбе рода.

Но Михаил неожиданно уперся. Он, оказывается, давно уже присмотрел себе дочь невидного по положению, по богатству и знатности боярина Хлопова — Машу, воспитывавшуюся после смерти матери у бабушки Желябужской. А спорить с царем и Марфе и Салтыковым было не ко времени: к 1616 году внешние дела страны все

ухудшались — Новгородский край был под шведом, смоленские земли у ляхов, немирно жили с Литвой...

Но жениться-то все равно надо — негоже на троне сидеть холостому государю, царству нужен наследник. Назначили, по давнему обычаю, царские смотрины: собрали в столицу со всех краев девиц пригожих и достойных, августейшему жениху на выбор. Суматохи было при дворе и в столице, не приведи господи! Мать-инокиня казалась спокойной — в уверенности, что сын выберет ту, на которую она указала...

А он без колебаний выбрал свою давнюю симпатию, Марью Хлопову.

Стараясь днем не показывать внучке меру своего горя, бабка Желябужская и ко сну шла, как на каторгу. Ежась на жесткой кошке (после привычной пуховой перины) под подбитой холстом оленьей шкуркой, тяжело вздыхая и шепча все знакомые молитвы, она пропускала сквозь сито памяти события последнего (злого!) года и искала в них свои возможные вины и прегрешения.

Машеньку она взяла в дом после смерти своей дочери; в семье у Хлоповых одни мужики, и нестарая еще тогда бабка решила воспитывать внучку сама. Они так привязались друг к другу, что расставаться вовсе не хотели, а отец и не настаивал. Воспитывала, как и полагалось, в скромности и честности, трудолюбии и уважении к старшим, учила грамоте, рукоделью. Замечала, что в детстве Маша охотно играла с Мишей Романовым, тоже сиротой, только при живых родителях, сосланных в монастыри. Встречались они и после, на праздничных гуляньях, в церкви. А как Мишу царем поставили, тогда уж стало не до встреч — помазанник божий, не кто-нибудь. Долго не встречались, а вот, поди ж ты, вспомнил. А может, и не забывал?

...Смотрины царские — давний обычай на святой Руси, еще до Ивана Васильевича Грозного заведенный: собрать по городам и всяем девиц лицом и статью попригоже да родом подостойнее и показать их жениху — которую выберет, той и быть царицей.

Невест на этот раз собрали в большой палате дворца, рядом с той, где сидел Михаил с матерью и со свитой. Перед царские очи их выводили за руку матери или родственницы, низко кланялись, откидывали с лица девицы густую фату и ждали знака внимания жениха. Но вот прошли уже и пятая, и десятая, а царь почти и не смотрит на них, глядит куда-то в сторону, хотя мать уже не раз склонялась к нему и что-то настаивательно шептала.

Лишь когда «запас» невест стал иссякать и все решили, что смотрины кончатся ничем (и такое бывало прежде), в палату вошла Марья Хлопова с бабушкой и задержала шаг возле царского кресла. Она стояла бледная, почти не дыша, пока нестройный гул голосов не заставил ее поднять глаза: перед нею стоял и улыбался сам государь. С улыбкой он взял ее безвольную руку и надел на палец кольцо, поднесенное на золотом блюде с шитую ширинку, а потом, поправив негустые еще усы, поцеловал девушку.

Обручение состоялось. Машенька и бабка ее, ошеломленные свершившимся, мало что и запомнили из дальнейших церемоний. Запомнилось, как духовник царя по обычаю торжественно нарек ее новым именем — Анастасия — в честь бабки Михаила, породнившей когда-то Романовых с Рюриковичами. Пришла в себя, когда оказалась в «верху», покоях дворца, предназначенных для царицы, среди избранной челяди и подружек.

А затем пошла суматошная круговерть — приготовления к свадьбе, застолья и пиры, увеселительные поездки и прочие развлечения. И ничто вроде не предвещало беды, хотя Маша и видела порой злые — то завистливые, то ненавидящие — взгляды в толпе придворных. Беды не ждали, а она пришла оттуда, откуда ее трудно было предположить.

В один из солнечных дней поехали большой компанией, с родственниками жениха и невесты, как водится в русских семьях, на гулянье в сельцо Покровское. Взяли с

собой всяких лакомств — фрукты заморские в сахаре, халву восточную, орешки кедровые и волошские, водички сладкие. И то ли Маша сама тому виной, то ли что другое, но, когда воротились в Москву, она почувствовала себя нехорошо, стошнило ее сильно. А случилось это, на беду, на глазах у людей. Оказавшийся тут будто случайно Михайло Салтыков поднял крик: «Порченная она, черной немочью больна, к чадородию государеву неспособная!» — и тут же поспешил с такой вестью к матери царя, зная, что сие в ее интересах.

Марфа призвала ученых лекарей, чтоб обследовали Марью. Те вначале непонимающе пожимали плечами, вопросительно глядя на инокиню, но когда к ним пришел Салтыков и о чем-то сердито поговорил, лекари дали заключение: да, больна, но не знаем, чем именно.

На другой день Маше приказано было удалиться из царских покоев, но она еще ночью, под покровом темноты бежала домой глухими переулками, таясь от глаз людских, сжигаемая стыдом и позором.

Дома Маша на расспросы бабушки призналась, что в поездке прельстилась на сладости, до которых всегда была охотница, а сладости те ей подкладывали племянницы Салтыкова, бывшие с ними в поездке, а сам Салтыков угощал какой-то сладкой хмельной водичкой. Но — кому теперь докажешь...

А государь-жених все дни до поездки был ласков и внимателен, говорил невесте, что любя она ему, но тут стихал, помрачнел, однако матери подчинился и даже в терем не заглянул. Это-то и было горше всего Маше. Даже когда на двор к Желябужским пришел служилый человек и приказал всей семье собираться в дальнюю дорогу, в Сибирь, как ни странно, Маша приняла известие, пожалуй, с облегчением — подальше от всего того, что напоминало о позоре. Несмышленная еще, считала бабка...

Так думала бабка Желябужская. Но Маша уже не была несмышленищем — время заставило ее повзреть и разделило жизнь на ДО и ПОСЛЕ.

Сидя бесконечно тянувшимся днем у изыаного окна и глядя сквозь его приоткрытую створку на неспешную и нешумную тобольскую улочку, Маша ощущала себя жительницей какого-то иного мира. Тот мир, в котором она жила в безоблачном детстве, согретом любовью и заботами бабушки, лелеявшей и холившей свою «ягодку», и в светлую пору юности, когда все в жизни казалось радостью и сулило лишь счастье, — того мира как бы не бывало и жила в нем не она, а какой-то другой человек. И то, что она видит в оконную створку, тоже не ее мир, не тот, в котором живет она. Вон идет с ведрами по воду девушка, может, ровесница, она тут, а не окликнешь ее, не поздороваешься, не поговоришь. Проехал на коне бородатый казак с пищалью, прошли, о чем-то беседуя, трое басурман в теплых халатах, бухарцы, наверное, просеменял подъячий с пером за ухом и смешно болтающейся у пояса чернильницей, протарахтел в сторону таможни вѳз с мягкой рухлядью — собранным ясаком... И все это словно не здесь, а где-то там, в мире, к которому она не принадлежит.

Как и то страшное, что было в недавнем еще прошлом и осталось тоже где-то там. Даже то, что там казалось радостным, теперь не вызывало радости здесь. Вспоминая, как ее перед смотринами обрядили в лазоревый камковый сарафан с серебряным кружевом и чреватый бархатный опашень, а косы искусно перевели золотым шнуром с жемчужными наконечниками и как по-детски радовалась богатому наряду, теперь Маша спешила отогнать от себя это как наваждение. Неужели он существовал когда-то, тот мир, который разрушен вероломством людей?

Нет прошлого, нет настоящего и будет ли будущее? Куда теперь бедной девушке, в Иртыш разве? Да нельзя и от избы отлучиться... И лишь великий целитель — время — понемногу взращивал ростки надежды: вот придет

добрая волшебница и кончится наваждение, вернется тот мир, в котором были добро и любовь...

И, словно в награду за верность надежде, случилось нечто, никем, кроме Маши, не ожидаемое. На третью ссыльную зиму, в середине ноября 1619 года, призвал тобольский воевода к себе Ивана Желябужского и велел всей семьей собираться в дорогу — в Верхотурье. Зачем, почему, не сказал, но был ласков, значит, не к беде.

Когда добрались до Верхотурья, тамошний воевода прочитал царскую грамоту, полученную еще в августе:

«От царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси в Сибирь на Верхотурье, воеводе нашему Федору Ивановичу Сомову. По нашему указу велено Ивану Желябужского с матерью и с женою, и с братом, и с племянницею из Тобольского города отпустить на Верхотурье. И как к тебе ся наша грамота придет, и из Тобольска боярин наш и воевода князь Иван Семенович Куракин да дьяк Иван Булыгин Ивана Желябужского с матерью и с женою, и с братом, и с племянницею на Верхотурье пришлют и ты б им велел дати на Верхотурьи двор, где пригоже, а с Верхотурья никому их без нашего указа не отпускал, а корму им велел давати Ивановой матери по два алтына в день, а Ивану Желябужскому и жене его, и брату, и племяннице по десяти денег на день человеку...»

Здесь, в Верхотурье, Желябужские приободрились: получили «двор попригоже» — половину воеводского дома, и деньги на корм приличные. Похоже было, что в той грамоте или в приложении к ней имелось нечто, позволявшее подозревать, что милость эта не последняя. И кто знает, не вернутся ли Желябужские в Москву и не станут ли влиятельными людьми при дворе. А что перемен при дворе надо ждать, свидетельствовал слух о возвращении из плена Филарета, отца царя.

Два с половиной века спустя пермскому археологу-любителю В. Шишонко, собиравшему редкие старые документы по истории Урала, повезло раздобыть рукопись, писанную, судя по почерку, в середине XVII века, касавшуюся прошлого города Верхотурья. В ней были строки, посвященные и Марии Хлоповой: указана дата ее прибытия из Тобольска, отмечено, что она «была велими баска, ласкова, приветлива, милостива к несчастным и убогим, но молчалива, а росту была выше среднего». На одной из страниц имелась приписка другим почерком: «Лик Марии сиял такую лепотою, что, раз узревши его, трудно уж было оторвать от него взоры» — видно, и в самом деле хороша была опальная невеста в те годы, несмотря на выпавшие на ее долю невзгоды.

К сожалению, Шишонко не уберег рукопись — во время пожара в его квартире она погибла.

Едва ли до слуха Маши дошли эти комплименты, тем более что и записаны-то они были уже после ее отъезда из Верхотурья. А пока она утешалась относительной свободой, ожидая новых вестей из столицы и гадая — что там сейчас происходит.

В далекой Москве и в самом деле что-то «происходило» — перемены, вызванные возвращением из плена митрополита Филарета, отца царя, несомненно более значительной фигуры, чем его отпрыск.

Сын боярина Никиты Романовича Захарына, принявшего по отцу фамилию Романовых, один из самых видных деятелей русского боярства конца XVI века, двоюродный брат Федора Иоанновича, последнего царя из рода Юрьковичей, соперник Бориса Годунова на выборах государя, а потом глава оппозиции ему, он вместе с женой был пострижен в монахи и сослан в дальний монастырь. Лжедмитрий I вернул его из ссылки и даже назначил Ростовским митрополитом. И все же эта милость не удержала Федора Никитича (теперь Филарета) от новых придворных интриг: он принял участие в свержении лжецаря, однако был захвачен Лжедмитрием II и увезен в его столицу, Тушинский лагерь, где наречен патриархом. Вернувшись в Москву, помог в свержении еще одного правителя — Василия Шуйского, а в сентябре того же года

возглавил «великое посольство» в Польшу, к королю Сигизмунду для заключения мирного договора и призвания на русский престол его сына Владислава. Но миротворческая миссия не удалась — Филарет, несогласный с какими-то деталями договора, поспорил с королем, поляки прервали переговоры, митрополита арестовали и отправили во внутренние области Польши. И только теперь, летом 1619 года, освободили.

Да, это была фигура, не чета совсем еще юному, неопытному ни в государственных, ни в ратных делах Михаилу. Все понимали, что с возвращением отца сын будет лишь прикрытием настоящего правителя. Его и встречали как фактического главу государства.

Филарет начал наводить порядки в разболтанном управлении страной в результате деятельности Марфы и Салтыкова. Вероятно, в этой же связи состоялся разговор Филарета с Михаилом — почему тот до сих пор не женат. Предложил сосватать иноземную принцессу. На первый раз Михаил отмолчался, а на другой, когда отец предложил еще какую-то иноземку, Михаил признался, что невеста у него есть, но мать не дает благословения. Рассказал и историю со смотринями и ссылкой невесты. Предвидя благожелательный ответ отца, Михаил и послал в Тобольск грамоту о переводе Желябужских в Верхотурье (все поближе к Москве). Филарет неожиданно для Марфы дал согласие на такое странное — повторное — сватовство. Но прежде предложил восстановить доброе имя невесты.

За расследование сложной истории засела изрядная дружина, строго подобранная самим Филаретом из близких к себе людей. Призвали к ответу лекарей Больша и Бельцера, давших в свое время заключение о болезни Марии Хлоповой. Те сразу же покаялись, что сделали это под нажимом кравчего Михайлы Салтыкова, угрожавшего им карами. Салтыков всячески изворачивался, мать-инокиня кипела от гнева в своем тереме, но лживость навета стала несомненной. От имени обоих государей создали высокий совет из самых близких к трону людей: Ивана Никитича Романова (брат Филарета, дядя Михаила), князя Ивана Борисовича Черкасского (у которого Михаил в детстве воспитывался, пока родители были в ссылке) да Федора Ивановича Шереметьева. Высокий триумvirат повел дело круто. Под расспросы угодили все, кто хоть как-то соприкасался с этой историей, — шел «государев розыск».

Отец Маши Иван Хлопов объявил, что его дочь до переезда во дворец на здоровье никогда не жаловалась, а коль здесь стошнило ее, так, значит, здесь и причину искать надобно. То же самое сказал и священник, исповедывавший Марию с детских лет.

Пока шел розыск, Михаил перевел Желябужских из Верхотурья поближе к Москве, в Нижний Новгород. Одна текст указа выдавал нерешительность «жениха» — поблажка соседствовала с напускной строгостью. Но Маша здесь названа Анастасией, именем, данным ей при обручении.

А розыск в Москве все тянулся и тянулся, хотя, казалось бы, и так уже картина ясна. Похоже, что кто-то мешал делу, затягивал следствие, уводил его в сторону. В сентябре 1621 года в Нижний отправилась еще одна комиссия: боярин Федор Шереметьев и чудовский архимандрит Иосиф с лекарями. Им велено было разузнать подлинно: точно ли Хлопова здорова и ныне. Шереметьев вернулся из Нижнего с известием, что лекари и ныне признали Хлопову полностью здоровой, а сама она, как и ее отец, твердили, что обвинение ее лживое, «от супостата», что кравчий Салтыков тогда, в сельце Покровском, подал ей какой-то водички из ларца своего, после чего Марию и стошнило. Впрочем, Гаврила Хлопов высказал нехитрое предположение, что племянница, охочая до сладостей, объелась ими. Но все сошлись на том, что в оболгании невесты повинен Салтыков.

Вскоре в Москве состоялся указ об опале Салтыковых: их разослали в ссылку по деревням, мать (а она была сестрой Марфы и теткой Михаила) заточили в монастырь, поместья и вотчины отобрали в казну. Как писалось в указе, полною (не по официальному) гневных упреков: они...

«государевой радости и женитьбе учинили помешку... сделали это изменю, забыв государево крестное целование и государскую великую милость, а государская милость была к вам и к матери вашей не по вашей мере; пожалованы вы были чеством и приближением больше всей братии своей, и вы то поставили ни во что, ходили не за государевым здоровьем, только и делали, что себя богатели, дома свои и племя свое полнили, земли крали и во всяких делах делали неправду, промышляли тем, чтобы вам при государевой милости кроме себя никого не видеть, а добровольство и службы царю не показали».

Итогом долгого розыска и следствия, похоже, стало не столько брачное дело Михаила, сколько обвинение Салтыковых и удаление их от власти при дворе. Порок был наказан. А как же добродетель?..

С добродетелью получилось хуже. Торжеством ее финал этой истории не назовешь.

Доходившие до Нижнего вести о признании Машинной невиновности и о наказании клеветников не просто обрадовали опальную семью, но позволили ей воспрянуть духом. Они уже стали готовиться к переезду домой, в Москву. Но этой надежде не суждено было сбыться. Громом в ясном небе явилась царская грамота, черным словом которой трудно было поверить. Царь писал Ивану Хлопову: «Мы дочь его взять за себя не изволили». Маше (теперь уже Марье, а не Анастасии) и Желябужским велено жить в Нижнем Новгороде, для чего им был отдан богатый дом достоправного Козьмы Минина, ныне покойного, назначено содержание «против прежнего вдвое» и ежегодные выплаты значительного жалования. Так сказать, откупались!..

Что же произошло в Москве за это время?

Как и следовало ожидать, снова вмешалась мать царя. Отстраненная от вмешательства в государственные дела после возвращения Филарета, она решила отыгаться на другом. Выждав время, когда первый приступ гнева против Салтыковых прошел, Марфа решительно заявила, что своего благословения на брак с Хлоповой ни за что не даст. Принудить ее к этому путей нет, а иначе брак будет недействительным. Филарет же больше в свадебные дела не вмешивался, тем более что сам-то он мечтал женить сына на иностранке, породниться с каким-нибудь европейским двором. Михаил еще сколько-то пождал, надеясь, что мать отступится (но — где там, инокиня была непреклонной), и смирился.

Прошло еще какое-то время и наступил момент торжества ее — Михаил согласился на брак с княжной Долгорукой, избранницей матери.

Увы, торжество ее было недолгим — через несколько месяцев молодая царица умерла, так и не подарив государю наследника — ее сразила тяжелая болезнь, проявившая себя на другой день после свадьбы (пошла горлом кровь). Здесь виновных искать не стали — все было ясно, да и свадьбу не переиграешь. Пришлось Михаилу жениться еще раз — торопил Филарет, ждал наследника. Царицей стала Евдокия Стрешнева, которая и подарила долгожданного наследника — царевича Алексея, второго государя из династии Романовых.

А Маша Хлопова? Она умерла в 1633 году в Нижнем Новгороде совсем еще молодой, оставив по себе в городе добрую память — так сообщают историки. О чем она думала в последние годы своей короткой жизни, мы уж никогда не узнаем, об этом историки умолчали, а Маша, хотя, как говорят, и владела грамотой, мемуаров не оставила. Каждый волен сейчас по-своему домысливать ее мысли, но помня о ее добром, незлобивом нраве (как уверяют историки), о воспитанной с детства по обычаям того времени покорности женской судьбе и «промыслу божьему», можно предполагать, что простила и незадачливого жениха своего, и коварных Салтыковых, и инокиню Марфу, несостоявшуюся свекровь свою — церковь учила прощать врагам своим.

Истории и историйки (происшествия, события, случаи) бывает, что и повторяются. История, как совокупность событий прошлого, — нет. Вот и на этот раз предсвадебная история в царском дворце повторилась вдовольно похожим варианте, а история... ушла на три с лишним десятилетия вперед, подвигаясь к середине века. На престоле российском пребывал уже сын Михаила Федоровича Алексей. Россия к тому времени стала забывать разброд и сумятицу Смутного времени, на границах стало поспокойнее. Это потом, попозднее, будут и народные мятежи, и медный бунт, и разинщина, и ратоборство со шведами, и многое другое, а пока, слава богу, относительно мирно и покойно — на дворе год 1647 от Рождества Христова, а от сотворения мира — 7156-й.

Государь Алексей Михайлович еще молод, лишь два года назад вступил на престол шестнадцатилетним, во многом еще несведущ. Да и жениться надо, говорят бояре — негоже холостому царю царствовать. Правда, невесты на примете нет, ни своей, ни иноземной. Решили прибегнуть, по примеру отца, к старому обычаю — посмотрим. Опять разослали по большим и малым ближним городам послов-бояре, чтобы присмотрели пригожих девиц и направили бы их в Москву. Так и сделали...

В то время в Касимовском уезде, в своей наследной вотчине, проживал уважаемый в округе за ум и хозяйственность потомок древнего дворянского рода Раф (Федор) Родионович Всеволожский с семейством. Бывал он и на государевой службе, имел и ратный опыт, но теперь, пока к службе не звали, отсиживался в своих имениях, занимался хозяйством и обязанностями главы семейства, в котором всеобщей любимицей была дочь Евфимия, Фимушка. Пригожая собой, статная и ладная, она в свои 16 лет слыла завидной невестой во всей касимовской округе. Родители уже подумывали о женишке для нее.

Но в их думы и планы неожиданно вмешались посторонние силы. По весне, после Пасхи, в Касимов прибыли государевы посланцы боярин Пушкин да князь Тенишев и велели собрать в Касимов со всей округи пригожих девиц дворянского рода. Пришлось и Рафу Родионовичу везти свою Фимушку на погляд послам, отвечать на их вьедливые вопросы.

Родители касимовских девиц, конечно, дознались, для чего все это — еще не стерлись в памяти поколения и в семейных преданиях рассказы о царских смотревах 1616 года. А девицы, прослышав об этом, вели себя по-разному — кто-то радовался, предвкушая заманчивую возможность стать царицей, а кто-то пригорюнился, опасаясь расставания с приглянувшимся втайне от родителей мил-дружком.

Как бы то ни было, а вскоре пришла пора отобранным пригожницам садиться в семейные повозки и отправляться в столицу. А там, в белокаменной, их — молодых, здоровых, красивых и во всем остальном завидных — вместе с сопровождающими их родственниками передали в ведение еще более строгих судей. Здесь глядели не только на пригожесть, но и на здоровье, на родovitость. А когда после нескольких дней отбора их осталось только шестеро, в работу включились лекари, а также опытные в интимных делах придворные мамки, беседовали с ними и пастыри духовные — тверда ли в вере, знает ли молитвы. Только после всего этого девиц представили царю в тронной палате дворца.

Боярин Пушкин, только прибыв из Касимова, поспешил доложить царю о необыкновенно достойной девице, высмотренной там. Алексей вроде пропустил известие мимо ушей, но на смотревах долго не раздумывал — подошел прямо к Евфимии. Никак этого не ожидавшая касимовская красавица не знала, радоваться или печалиться. Зная коварные дворцовые нравы, был в сомнении и сам Раф Всеволожский. Думали ли они в тот момент о судьбе той, которая три десятка лет назад так же стояла на смотревах и удостоилась царского выбора, — о Маше Хлоповой?

Не знать о ее судьбе они не могли, людская молва живуча.

Зато выбор Алексея удивил и раздосадовал ближнего боярина Бориса Ивановича Морозова. Странными для посторонних были их отношения с царем — на людях боярин подобоострастно служил государю, а без свидетелей вел себя с ним как строгий наставник. Впрочем, еще недавно так оно и было: Алексей с трехлетнего возраста находился у него на попечении, а два года назад, после смерти матери, и вовсе подчинился Морозову. Да, видно, не совсем — посмел ослушаться при выборе невесты и разрушил планы боярина — женить царя на Марье Милославской, а себе в жены взять ее сестру.

Но выбор был сделан публично, на людях, его не скроешь. Невесту, согласно обычаю, поместили «наверх», в царичины покои, стали готовить к свадьбе. И... история Маши Хлоповой повторилась: когда Евфимию одевали и причисляли теремные девушки, она упала, потеряв сознание (по рассказам — ей сильно затянули волосы). И тотчас же нашлись люди, громко заявившие, что у невесты падучая. Свадебные приготовления приостановили — так распорядился боярин Морозов. Вскоре семья Всеволожских отправилась в Сибирь — привычное завершение интриги.

На этот раз за Фимушку заступиться было некому. Прошло несколько месяцев, и Алексей женился на Марье Милославской, дочери верного морозовского дружка, а сам Морозов через десять дней после этого — на ее сестре Анне.

И все-таки кара постигла злодея. С первых же дней после свадьбы царя, возмнив себя теперь неофициальным главою государства, Морозов вместе с дружками, судьей земского приказа Леонтием Плещеевым и главой пушкарского приказа Траханиотовым, да с царским тестем Ильей Милославским занялись столь откровенным лихоимством, грабежом государства и народа, что заслужили всеобщую ненависть. Не прошло и четырех месяцев, как это привело к бунту в столице. В мае толпы москвичей, встретив царскую карету, потребовали выдать им на расправу особо ненавистного всем Плещеева, ворвались в его дом, разграбили его, а хозяйка растерзали. Так же поступили и с домами Никиты Одоевского, князя Алексея Львова и других соратников Морозова по грабежу. Искали по всей Москве Морозова, но он скрылся из города. Волнения не унялись и на следующий день, пока занявшийся пожар не отвлек народ от преследования дружков Морозова и Плещеева. Пожар оказался нештучным, одним из самых значительных в истории столицы — сгорели Петровка, Дмитровка, Тверская, Никитская, Арбат, Чертолье и все посады...

Такой оказалась цена женитьбы Алексея на Милославской. Ни в чем не повинная Евфимия отправилась в Сибирь, куда в относительно почетную ссылку послали и Рафа Родионовича. Воеводство в Сибири считалось выгодной должностью, многие небогатые бояре сами просидели туда, чтобы «подкормиться» и через какое-то время вернуться домой с тугой кошней и с коробами «мягкой рухляди» — ценных мехов.

Как смотрел на это сам Всеволожский, мы не знаем, но основательно подкормиться ему едва ли удалось — очень уж часто менялись места его воеводства: полтора года он сидел воеводой в Тюмени, потом два года в Верхотурье, откуда его зачем-то посылают в вятский городок Яранск, но вскоре же (еще не успел доехать!) указом требуют возврата в Верхотурье, потом в Тобольск, затем снова в Тюмень, где он и обрел вечный покой на местном кладбище.

Возможно, что Раф Родионович не раз слал челобитную царю, чтобы отпустил его с семьей домой, в Касимов, но, видно, не до того было государю, и воевода оставался в Сибири. Разрешение пришло, когда Всеволожского уже похоронили. Пришлось в Москве писать новую грамоту: «...По нашему указу велено Рафову жену Всеволоцкого и детей ее, сына Алексея и дочь с людьми отпустить с Тюмени в Касимов». Вроде бы — прощение, но следующие

строки говорят о том, что опала еще не снята: отпустили-то не просто, а «с приставом тюменским» в качестве сопровождающего, «и быти ей (вдове) с детьми и с людьми в Касимовском уезде в дальней их деревне, а из деревни их к Москве и никуда отпущать не велено».

Кто и почему так настойчиво отдалял невесту и ее отца от Москвы, историкам осталось неясным. Нет у них и единого мнения о том, что же явилось истинной причиной опалы семьи Всеволожских. Но большинство из современников тех событий сходится в одном — в обвинении Морозова. И поскольку ему в ходе этой истории чуть не пришлось лишиться жизни, надо думать, что нежных чувств к этой семье он не питал.

Была, однако, и официальная версия: следствие по этому делу, учиненное по указанию царя. Полностью оно не дошло до нас, но из сохранившихся отрывков видно, что «в чародействе, в косном разводе и в наговоре на невесту» был обвинен холоп боярина Никиты Романова Мишка Иванов, избранный козлом отпущения. Для него-то дело кончилось, конечно, не опальной ссылкой, а в лучшем случае батогами.

Сохранилось известие иноземного царского врача Самуэля Коллинза, относящееся, примерно, к 1660 году: «Развенчанная царская невеста еще жива, со времени высылки ее из дворца никто не знал за нею никаких припадков. У ней было много женихов из высшего сословья, но она отказывала всем и берегла платок и кольцо, как память ее обручения с царем. Она, говорят, и теперь еще сохранила необыкновенную красоту».

Верность? Но чему и кому? Предавшему ее человеку, хотя бы им и был царь всея Руси? Изломанная жизнь, поправное человеческое достоинство остается пятном на совести «большого человека», оказавшегося ниже по нравственным качествам «маленького» — простой касимовской девушки.

Об одном провинциальном музее

«Музей (греч. музейон — место, посвященное музам, храм муз...)».

Большая Советская Энциклопедия

Поначалу я отнесся скептически к предложению написать о музее АтлантНИРО (Атлантического научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, что в самом западном городе нашей страны — Калининграде).

В каждом аналогичном институте есть такие музеи. У нас в городе их даже два: в АтлантНИРО и на икhtiологическом факультете Калининградского технического института. То ли дело Зоологический институт АН СССР в Ленинграде с анфиладой высоких залов! Здесь собраны экспонаты всего мира, здесь — чудеса таксидермии (так называется искусство — да-да! — искусство изготовления чучел животных), которые позволяют увидеть и мангровые заросли, и коралловый риф, и птичьи базары.

Или более скромный музей биологического факультета Казанского университета (в котором я когда-то учился и который окончил) — обладатель чуть ли не единственного в мире чучела квагги. Гигантские стада этой родственницы зебры населяли юг Африки, но были полностью уничтожены бурами. Кроме того есть экспонаты, привезенные однокашником и другом великого Н. И. Лобачевского, участником первой русской антарктической экспедиции астрономом И. М. Симоновым. В отдельном зале располагаются кораллы с Красного моря, собранные там не кем-нибудь, а самим А. О. Ковалевским! И здесь же, в небольшом шкафчике — коллекция дневных бабочек Поволжья великого химика А. М. Бутлерова (им была посвящена его кандидатская диссертация).

Решив писать этот очерк, я понял, что позиция стороннего наблюдателя у меня не получится, — вся моя сознательная жизнь так или иначе связана с музеями. В частности, с музеем А. М. Горького в Казани, где работала машинисткой моя мама. В его подвале располагалась экспозиция булочной Семенова, и я, читая книги Горького, хорошо представлял себе юного Алешу Пешкова, спускающегося по Галактионовской мимо «дома Кекина» с лотком горячих саек.

Когда мама перешла на работу в университет, в мою жизнь вошел его зоологический музей, а с ним биология. Эта — на всю жизнь. Студенчество было неразрывно с этим музеем: в одном из его залов стоял мой рабочий стол (за ним я познал первые радости научной работы), а позднее, уже самостоятельно, водил по музею экскурсии.

Накопец, став взрослым, обзаведясь семьей и жильем, я — вместе с женой — успешно превратил в конхиологический и минералогический музей нашу квартиру, до предела наполнив ее тысячами образцов минералов и горных пород и ракушками тропических морей. Так и живем всей семьей в музее! Видно, это на роду мне писано. Вель и музей АтлантНИРО — тоже кусок моей жизни, и много лет я служу Музам, которые — по определению (см. эпиграф) — должны обитать в его стенах.

В первый раз я попал в АтлантНИРО в сентябре 1961 года. Тогда он назывался: БалтНИРО. Студентом 5-го курса я участвовал в рейсе экспедиционного судна

«Батайск». После двух месяцев работы в Северной Атлантике мы зашли в Калининград.

Тогдашние впечатления живы и свежи во всей их полноте.

...Однажды мой учитель, ныне покойный, профессор В. Л. Вагин пошел в БалтНИРО. Я увязался с ним и впервые увидел это здание, скрытое от улицы рошей гигантских каштанов.

Здесь все дышало морем. Пенопластовые буи, прислоненные к стене здания; бухта стального троса; свежее выделанная шкура небольшой рыбы-луны, подвешенная для просушки к пожарной лестнице на уровне второго этажа; грузовик, заваленный сетным полотном. От него исходил специфический запах соли, дегтя, солидола, краски и еще чего-то... У меня, уже отравленного морем, от этого букета сладко сжималось внутри. А в коридорах второго этажа вдоль стен тянулись витрины с экспонатами — музей. Пока Владимир Львович беседовал с начальством, я погружился в созерцание сокровищ.

Казалось, мне ли, выросшему в музее, искать здесь необычного? Но в отличие от других музеев, где витали имена великих ученых, где из шкафов на меня обрушились потоки потрясающей интересной информации, то есть где все воздействовало на мой разум, — здесь, кроме этого, была бездна пиши для чувств. Потому что и здесь, выражаясь штампами, «веяли ветры дальних странствий». Вот омар с огромными клешнями. На пальцах одной — мощные бугры для раздавливания твердой добычи, другая, с пильчато зазубренными пальцами, предназначена для разрезания; а вот — чем-то похожий, но все равно совершенно другой рак — рыжий лангуст от берегов Африки, тут же — обросший морскими уточками (усоногими раками) поплавок темно-зеленого стекла с еле заметными японскими иероглифами. Зато рядом — действительно уникал! В цилиндре с формалином плавает сифонофора физалия — гроза тропических морей. Горе купальщику, задевшему ядовитые щупальца этого нежного студенистого животного. Ее пневматофор — поплавок — еще не потерял своего лилового цвета, свившиеся спиралью грозные щупальца свисают в толще жидкости, заполняющей цилиндр.

Я наклонился к этикетке... и даже отпрянул от возмущения: там было написано: «Медуза физалия». Обозвать знаменитую сифонофору — медузой? Это такая несообразность, как назвать носорога — слоном.

В ответ на мое возмущение заведующий музеем обезоруживающе улыбнулся:

— Вель мы не спецы. Пойдемте, посмотрим вместе, может, еще заметите какой-то ляп.

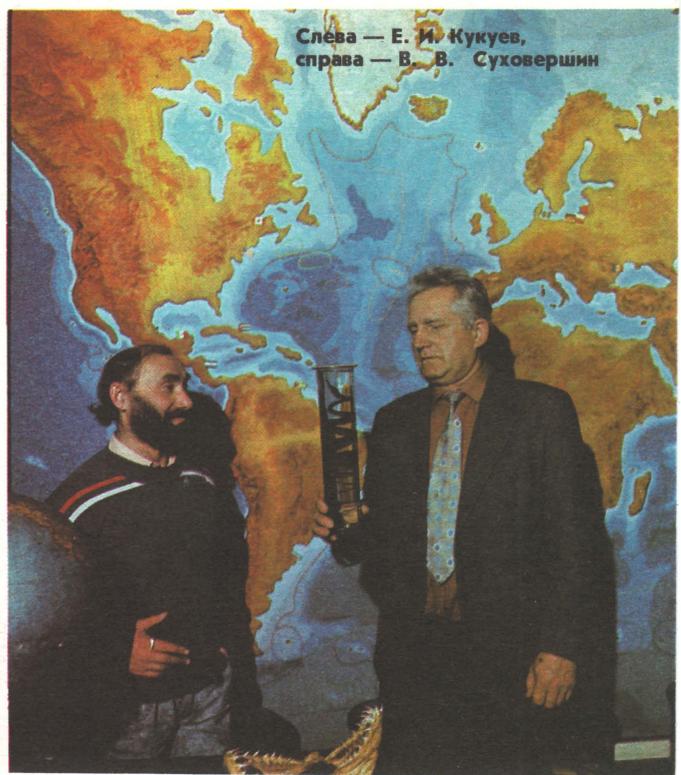
Это был Юрий Николаевич Иванов — директор и создатель музея, ныне известный писатель. Тогда он только пробовал свои силы, а узнав, что институту нужен директор музея (тогда еще не существовавшего), Иванов предложил свои услуги. Ему вручили крупного судака и предложили к завтрашнему дню сделать из него чучело.



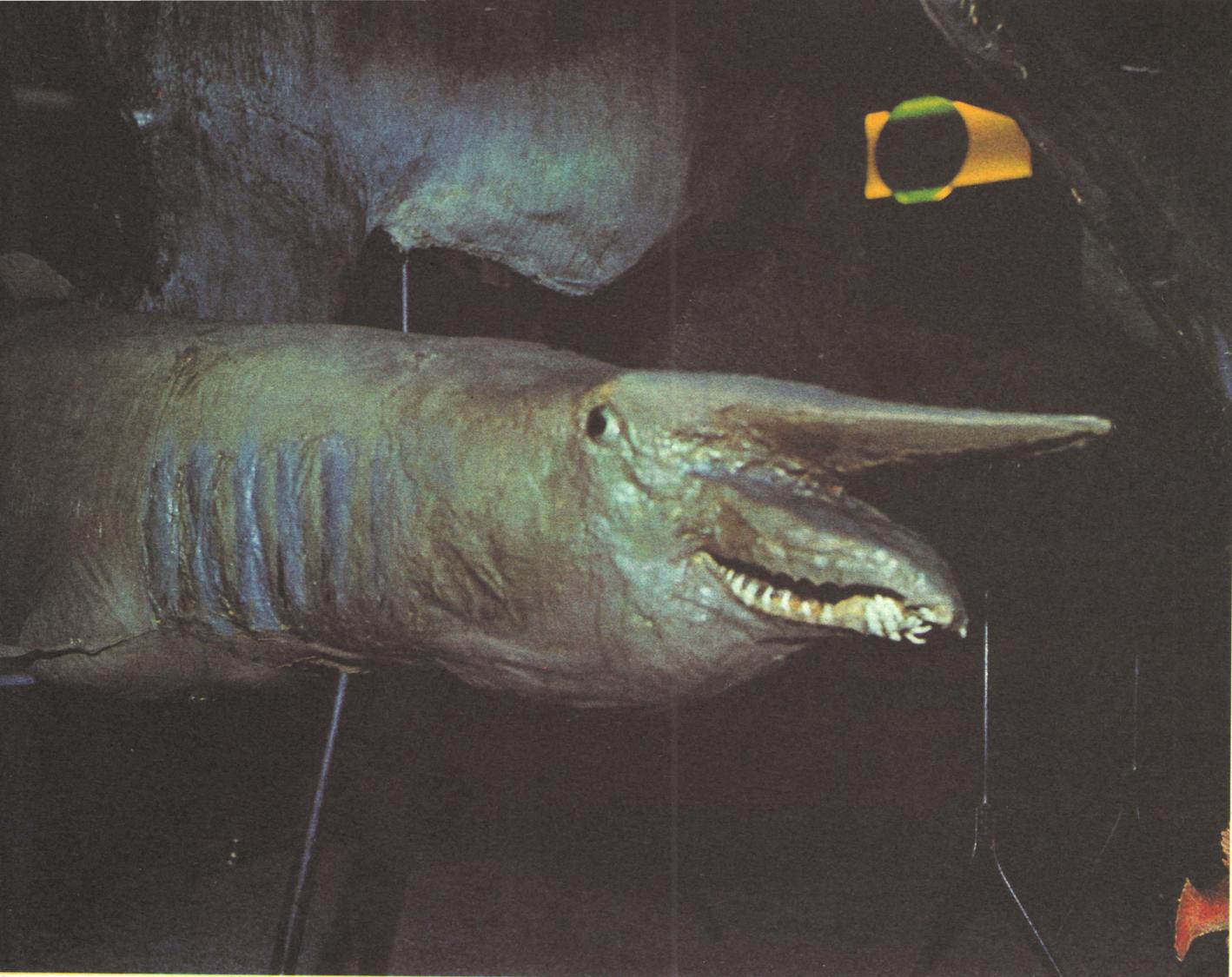
Акула-молот



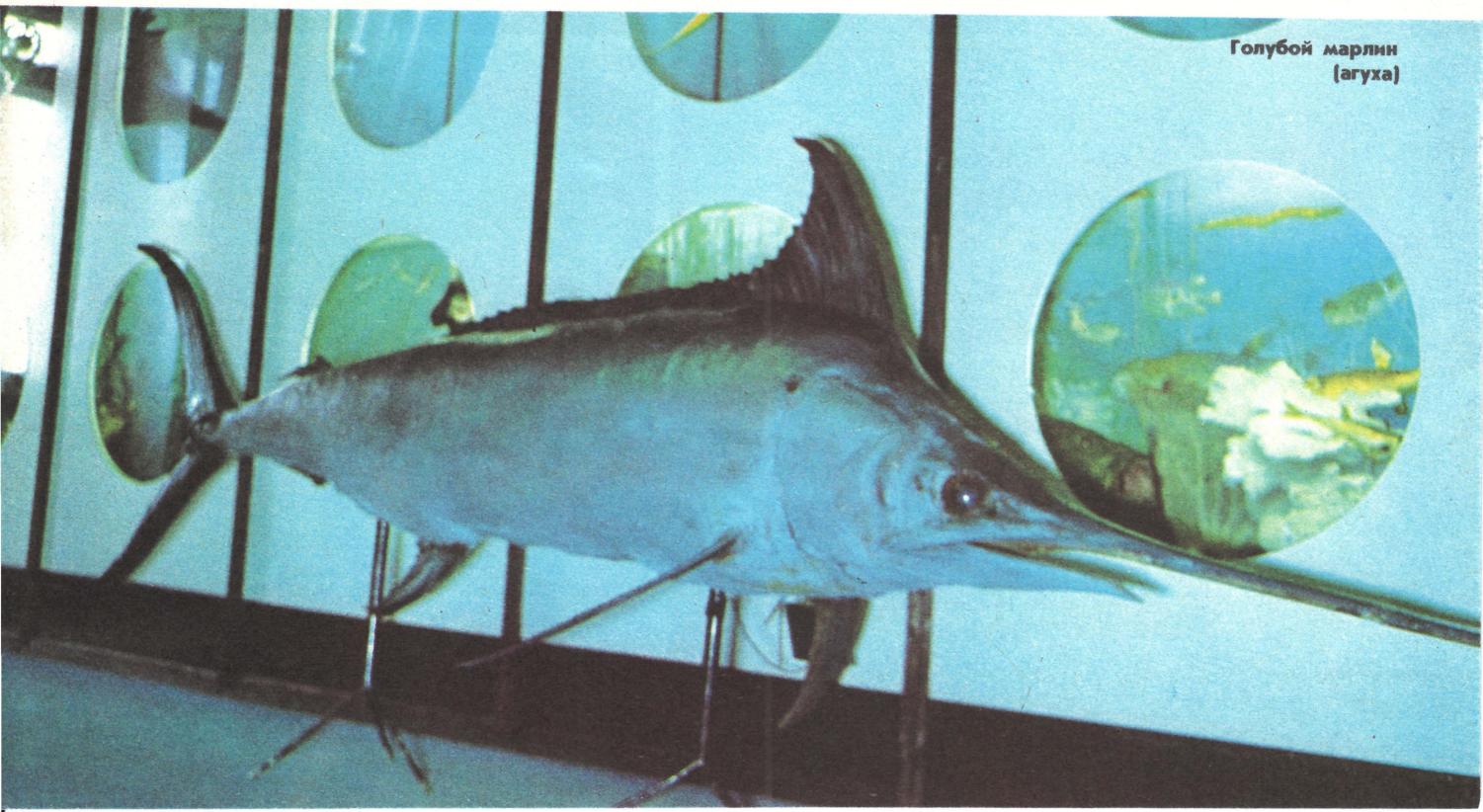
Рыба-солнце



Слева — Е. И. Кукуев,
справа — В. В. Суховершин



Митсхурна — лопатоносная акула, или акула-домовой, акула-гоблин



Голубой марлин (агуха)

Предстоял экзамен на профессиональную пригодность. Он прекрасно описан Ю. Ивановым в книге «В широтах морского дьявола»:

«Рыбу-судака делали с женой всю ночь. То он получался горбатым, то слишком брюхатым, то из бока выпирал какой-то угол, то отчего-то пасть не закрывалась, а хвост поникал, как флаг во время затишья. Подручного материала не было, пришлось распороть одну из подушек. В эту чертову рыбу влезла целая подушка перьев! Глаза рыбы мы сделали из канифоли. Я их нарисовал на картонных кругляшках, а сверху залил медово-желтой канифолью. Вставил — и рыба будто ожила, хищно уставилась в наши уставшие, осунувшиеся лица. То ли поужинав, то ли позавтракав ухой из этого же судака, мы поставили зверюгу сохнуть на батарею парового отопления, а сами легли спать.

Проснулся, глянул и оторопел. Вся рыбина покрылась бурой щетиной! Это перья прорвали подсыхающую кожу и выперли своими острыми наружу. Намылив судака, я подобрал его и глянул на часы: пора было отправляться в институт. Вздохнул, еще осмотрел «экспонат» и засмеялся: а, была не была!

— М-да... Какой-то новый вид рыбы, обнаруженный в водах Куршского залива, — задумчиво проговорил заместитель директора по науке. — Под экспонатом обязательно надо написать: «Это действительно судак, а не ихтиозавр».

— А мне эта зверюга нравится, — говорит директор и кидает карандаш на стол. — Что-то в ней живое, понимаете? Характер просматривается. Злой и беспощадный. Что ж, будем считать, что у нас теперь есть директор, так сказать, музея...»

Но все это я узнал потом, через много лет знакомства и дружбы. Нас сблизили, кроме музейных дел, и любовь к морю, и то состояние души, которое прекрасно описал А. Т. Твардовский:

Я в скуку дальних мест не верю,
И край, где ныне нет меня,
Я ощущаю, как потерю
Из жизни бывшего дня.

Позднее, целиком занявшись литературной работой, Ю. Иванов ушел из института. Рамки музея и наших рейсов стали ему тесны, но все это было позже. Сейчас он внимательно слушал мои почтения, излагаемые с апломбом школяра. А за стеной решалась моя судьба — в прямом смысле слова.

Внезапно из-за двери с табличкой «Зам. директора» выглянул Владимир Львович и поманил меня. Оказывается, в процессе беседы заместитель директора пожаловался на отсутствие специалиста по креветкам, и мой учитель, что называется, продал меня на корню.

Через год я прибыл с дипломом и был определен в лабораторию Южной Атлантики. Мой первый визит был — в знакомую комнату. Встретил меня не Иванов, а широкоплечий темно-русый парень с развалистой походкой и громким уверенным голосом — его помощник, а впоследствии — бессменный директор музея и автор большинства его экспонатов В. В. Суховершин — просто Валя — многолетний соратник по музейным делам и друг.

Я, с моими «не туда вставленными руками», всегда восхищался его мастерством. Ему доступно все: от чучел рыб до... рытья колодезь; моряк, охотник, аккордеонист, шофер... и просто по-настоящему добрый человек.

Мои служебные обязанности тогда были, ну, как бы сказать... не обременительны: я копался в отчетах экспедиций, вылавливая каждое слово о креветках, рылся в библиотеке, выписывал литературу.

Чувствуя, что в очередной раз засыпаю над бумагами, шел в музей. Через неделю от разговоров перешел к делу: взялся помогать Вале делать чучело здоровенной акулы-молота.

Этот вид акул резко выделяется среди своих собратьев Т-образным расширением головы. На краях перекладки буквы «Т» сидят глаза. Расстояние между ними заметно шире, чем у других видов акул. Это, видимо, позволяет

акуле точнее определить расстояние до добычи. Полагают также, что расширение — это что-то вроде «подводного крыла», создающего повышенную подъемную силу при движении акулы. Для акул, чье тело тяжелее воды, это совсем не лишнее.

Представляете, как меня волновало, что мы делали чучело знаменитой акулы-людоеда, грозного обитателя тропиков Мирового океана? Сколько про это было читано, а тут я держу ее в руках, обдираю ладони о наждак шкурки. Мы вставляем каркас, набираем шкуру опилками, и буквально на глазах оживает грозное животное во всей красе.

Двадцать пять лет прошло с тех пор! Но и сейчас подвешенная под потолком музея, словно плывущая, акула не оставляет меня спокойным.

Есть в музее еще один экспонат, к которому я приложил руки. Это гигантский голубой марлин. Намучились мы с ним порядочно. В последний день провозились до ночи, вдвоем ворочая здоровенную тушу. Лишь около полуночи, зашив шкуру, наконец приподняли чучело, чтобы не подломить подставки, и установили его на место. Потом отошли, с гордостью посмотрели на свое произведение и с облегчением вздохнули.

На Кубе голубого марлина называют «агуха». Это та самая Рыба (именно с большой буквы) — один из героев повести Э. Хемингуэя «Старик и море».

Я всегда люблю ее. Стремительные контуры тела — от вытянутого наподобие аистинного клюва рыла-рострума до стройного хвостового стебля с дополнительными боковыми киялами и могучими лопастями плавника. Ланцетовидные чешуйки, обтекаемая, словно «облизанная», форма тела — все говорит о скорости. И агуха действительно одна из самых скоростных рыб океана. Ее грозный бивень — тоже следствие скоростных способностей рыбы. Без него она не смогла бы ловить свою добычу. Только не подумайте, что агуха нанизывает ее на рострум. Нет. Специалисты считают, что, несмотря на обтекаемость, рыба при движении словно гонит перед собой волну уплотненной воды, которая просто отбросила бы догоняемую жертву. Но рыба приподнимает бивень, и обтекающий его поток создает под ним как бы зону относительного разрежения. И жертву словно засасывает в пасть агухи.

Представляете, сколько кислорода нужно для окисления «горючего» в «двигателе» такой скоростной «машины»? Благодаря высокой скорости через ее жабры процеживается столько воды, что это с лихвой обеспечивает потребности агухи. Но это же делает марлина пленником его скорости. Он уже не может двигаться медленно или остановиться надолго: задохнется!

Поэтому физически слабый Старик и смог в неравной борьбе одолеть могучую Рыбу, весящую чуть не полтонны. Искусство старого рыбака состояло в том, что он стремился все время затормозить агуху, не дать ей развить скорость, не дать хлебнуть лишней порции кислорода. Чем дольше Старик удерживал Рыбу, тем более она слабела, пока и не погибла от кислородного голодания.

Не знаю, как кого, но меня не разочаровывают расшрифровки таких секретов. Они живут в моей душе рядом: восхищение повестью Э. Хемингуэя и восхищение механизмом, который движет этим чудом природы, голубым марлином, агухой, Рыбой Хемингуэя.

...Так я и «прилепился» к музею, хоть в нем и не числился. А он, возникнув как некий элемент интерьера, рос, обзавелся, как положено, фондом, где собрана коллекция рыб Атлантического океана. Потянулись в музей экскурсии. Для них выделяли специальный день. Иной раз моим друзьям приходится тяжело, и я с удовольствием спешу им на помощь, хоть уже давно не жалеюсь на нехватку дел.

Правда, в одном из самых героических эпизодов истории музея я не участвовал: был в командировке.

В январе 1967 года научно-поисковое судно «Гижи-га» привезло очень крупную рыбу-луно. Стояла обычная калининградская зима: влажная и промозглая. Сложности

начались уже с выгрузки туши во дворе института, так как автокран грузоподъемностью 1,5 тонны при попытке поднять рыбу с грузовика просто перевернулся: будущий экспонат весил больше. Лишь с огромным трудом, под «Эй, ухнем!» удалось спихнуть рыбину на землю, не поломав ее огромных плавников.

Все возбуждены: привезли экземпляр, крупнее которого не было ни в одном из музеев Европы! А ведь рыба-луна — тоже одно из чудес природы! Она обитает в толще воды. Несмотря на огромные размеры, которых могут достигать отдельные особи, это безобидные животные (о чем, кстати, говорит маленький — не по размерам — ротик). Рыба малоподвижна, просто парит в воде, влекомая течениями. И для уменьшения удельного веса тела его ткани насыщены водой, представляя собой что-то среднее между хрящем и студнем.

Этот хрящ, замороженный в рефрижераторном трюме судна, превратился в нечто резиноподобное. Никакие ножи его не брали, затащив такую громадину в помещение тоже было невозможно — разве что стену разбирать. И целый день во дворе института, сменяя друг друга, Валя, Б. А. Леонов (кстати, брат космонавта), И. Е. Филатов, Е. И. Кукуев, И. И. Коноваленко топорами вырубали этот проклятый хрящ. И при этом надо было ухитриться не повредить шкуру.

Изготовление самого чучела тоже было тяжким трудом: попробуйте поворочайте сырую шкуру такой махины! И требовалась большая точность, чтобы скрупулезно соблюсти пропорции тела рыбы. Опилками такую громадину не набьешь. И тогда под руководством И. Е. Филатова ребята по специальным шаблонам изготовили для будущего чучела — как для корпуса яхты — набор шпангоутов. А сверху уже натянули шкуру. Но перед этим в основание спинного плавника вложили записку с данными о рыбе и перечнем всех участников эпопеи.

...А однажды директор института С. А. Студенецкий застал следующую картину: у подъезда — милицеевские машины, на задах толчется милиция с большими звездами на погонах, кругом, удерживаемые постовыми, крутятся любопытные, из окон института торчат головы. Он, конечно, представился милицеевскому ареопагу и поинтересовался: а в чем, собственно, дело? Ему указали на мусорный бак, в котором лежали... отрубленные кисти рук, как показалось оторопевшему директору — женские.

Их обнаружила накануне вечером уборщица. Она с криком кинулась к вахтеру, который и позвонил в милицию. Известие о страшной находке милиция приняла с недоверием, но приехала. Время было позднее, поэтому ограничились тем, что возле бака поставили часового. А утром пораньше съехало милицеевское начальство: такое неслыханное злодейство!

Неизвестно, чем бы все кончилось, не появившись заместитель директора по хозяйству А. И. Курдюмов.

— Да это же Валентин с Гошей Филатовым обезьяну резали! — пояснил он. — Из зоопарка. Там обезьяна сдохла.

Бедный постовой, героически карауливший всю ночь... заплакал. Но можете представить, что сказал директор виновникам переполоха!

...И еще об одном человеке и еще об одном экспонате. Человек этот — Е. И. Кукуев, Фима, — тоже мой друг. Я надеюсь, меня не осудят за то, что я пишу только о друзьях?

Судьба Фимы поначалу складывалась драматически. Послевоенный ребенок, родившийся на разрушенной, голодной Брянщине. Его, как и многих других его ровесников в те годы, не миновал костный туберкулез. Мальчик погибал. Отчаявшиеся родители написали... И. В. Сталину. В ответ появилось распоряжение переселить всю семью в Калининградскую область, в приморский курортный городок Светлогорск, что в 40 км от Калининграда.

Он пришел в институт техником, а потом, будучи студентом-заочником, сдавал мне зачет по генетике. Тихий, скромный, ниже среднего роста, увлекающийся палеонтологией, он не производил серьезного впечатления, но делал все очень основательно. Незаметно закончил институт,

поступил в аспирантуру, защитил диссертацию, стал прекрасным специалистом по глубоководным рыбам и с тех пор обожает распутывать сложную паутину всяких биологических историй. Вот одна из них.

...Однажды инженеры промысловой рыбозазведки привезли из Западной Атлантики очень странную акулу почти четырехметровой длины. Чучело ее выставили в музей, а Фима более года по крохам собирал сведения о ней, и вот что он узнал.

Около ста лет назад англичанин Аллен Оустон на рыбном рынке Токио обнаружил странную рыбу. Он таких никогда не видел, хоть и обехал чуть не весь свет. Это была акула длиной чуть больше метра с небольшим и необычно уплощенным рылом. Оустон купил рыбу и пришел к крупнейшему в Японии специалисту по рыбам профессору К. Митсукури. Тот поразился: это была явно новая для фауны Японии акула. Однако профессор не считал себя большим знатоком акул и счел за лучшее отправить ее знаменитому специалисту по железяберным (так ученые называют акулу и их родственников) профессору Д. С. Джордан из университета Сан-Диего в Калифорнии (США).

Джордан сразу понял, что имеет дело с новым видом, и этот вид так отличается от всех до сих пор известных акул, что его надо выделить в отдельный род и семейство.

Так он и сделал. Новое семейство и род назвал в честь профессора Митсукури, а вид — в честь Оустона. И с тех пор этот единственный представитель семейства Митсукуриид называется Митсукуриина оустони. Джордан 1892 (фамилия ученого, описавшего новый вид, присоединяется к его названию вместе с годом первоописания. — *Прим. авт.*)

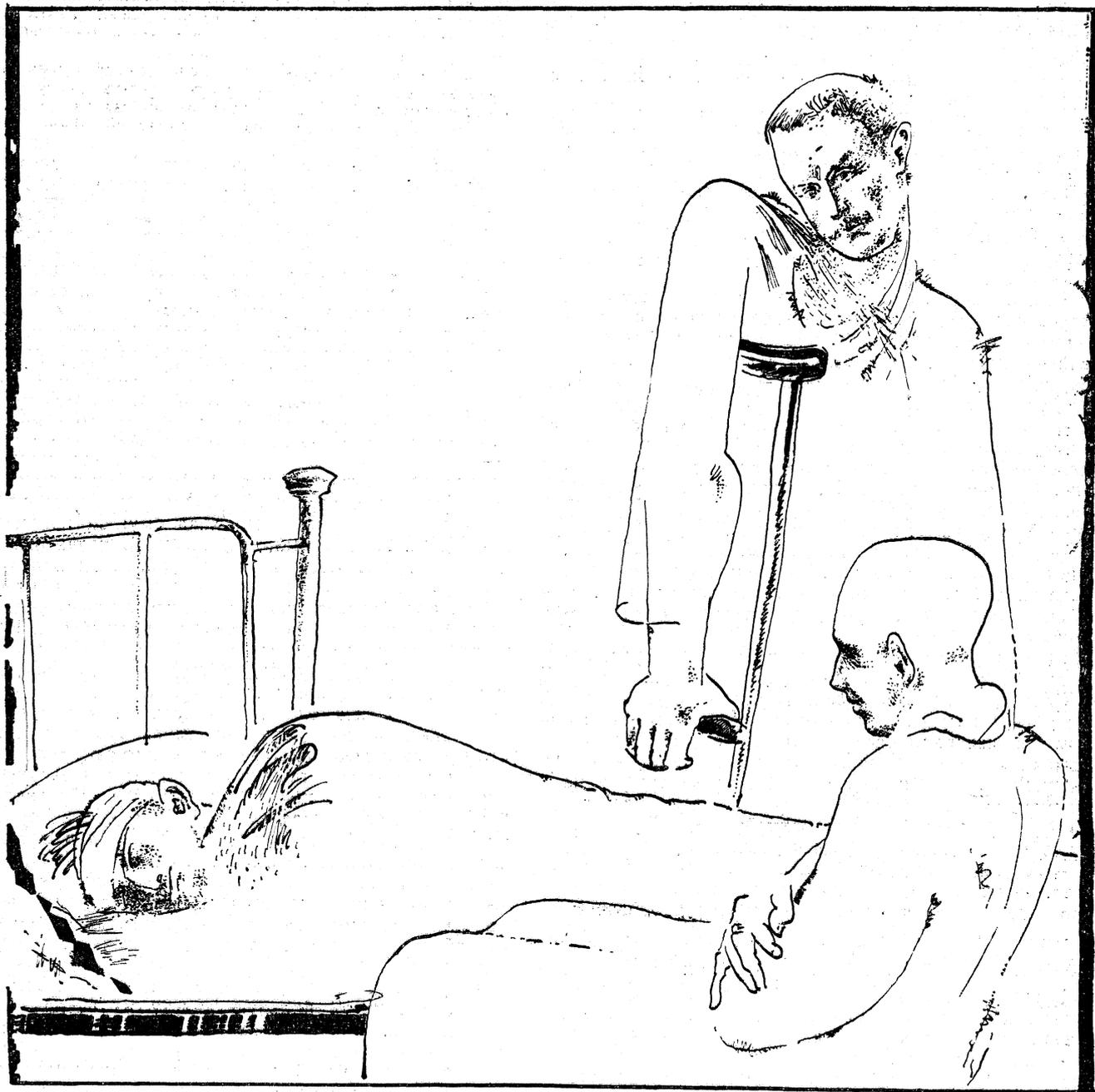
Впрочем, история вида с этого только началась. Через некоторое время статья с описанием новой акулы попала в руки английского палеонтолога А. С. Вуудворда, который лишь недавно описал новое семейство ископаемых акул, живших около 100 млн. лет назад. Из-за своеобразного рыла он назвал их «лопатоносыми» — скафоринхидами по-латыни. И теперь, читываясь в описания и вглядываясь в рисунки Митсукурины, убеждался: это явно потомок скафоринхид, доживший до наших дней.

Позже советский ученый Л. С. Гликман установил, что Скафоринхусы были обычны в древних мелководных морях, миллионы лет назад плескавшихся на юге нашей страны. Об этом говорят находки их зубов, а они для акул — словно паспорт: по одному можно точно определить, какому виду акул он принадлежит.

А наша современница Митсукурина очень редка. За сто лет она всего 12 раз попала в руки ученых, и каждый раз — на глубине более 1000 м. Можно полагать, что когда-то ее мелководные предки были вытеснены более приспособленными рыбами с отмелей мезозойских морей, и до наших дней дожил один-единственный вид, сумевший адаптироваться к жизни на больших глубинах.

Вот такая история, начатая англичанином Оустоном и законченная пока моим другом Фимой Кукуевым. Она мне видится своеобразным символом интернационального единства науки, не знающей преград и перерывов ни во времени, ни в пространстве.

Можно было бы продолжить рассказ, но и сказанного достаточно, чтобы убедиться: и нашему маленькому музею есть чем похвастаться. Я думаю, это справедливо для любого — даже самого маленького музея, если там живут Музы, для которых древние греки имен не придумали. Это Музы бескорыстного удивления, Потребности поделиться своими знаниями, Удовлетворения от ответного озорья, зажигающегося в глазах посетителей.



СЧАСТЬЯ МАЛЕНЬКИЙ

Повесть

БАУЛЬЧИК

Владимир
ШАПКО

Рис.
Владимира Ганзина



...И опять был резкий, белый запах перевязочной, с ледяше-стерильным позвякиванием хирургических инструментов, с липким, замирающим ожиданием боли.

На своей руке он почувствовал холодные, боязливые пальцы сестры. Пошел за ней.

— Сюда, сюда, Ванечка,— помогала ему сестра.— Ноги, ноги спусти со стола...

— Галя, дай ему немного...

В нос ударил запах спирта, он приоткрыл рот, запрокидываясь, дал влить в себя из тряского, плещущегося стаканчика. «Ну чего она трясется каждый раз!» — успел подумать только с досадой, как опять услышал эти боязливые пальцы — они бегали вокруг него, разматывали бинты.

— Ну-ка, Галя, теперь я сам... — Он ощутил уверенные руки Марка Ефимовича — и дыхание остановилось. — Ничего, ничего, Ваня, не волнуйся... Так, так... На лице отличненько, отличненько. Что чувствуешь, Ваня?

— Холодно... От вашего дыхания...

— А-а! Потому что кожа, кожа, а не мясо!.. Так, а вот на шее... на груди... тут, брат, плохо. Струп снова плохой. Снова нагноение. Придется, Ваня, опять с бинтом сдернуть... Ну-ка, приготовься! Галя, придержи его...

Обеими руками он ухватился за край стола, напрыгивая. Ударила боль и отбросила сознание...

Словно вечность прошла. Вместе с неумолимым нашатырем жгучим, саднящим обручем подперло голову — и выдавило рассыпающееся сознание наверх; вздыбливаясь, он застонал. И в сплошную эту развороченную боль, студенисто-красно трепещущую на месте его шеи, его груди, быстрыми ножами била другая боль — сильнее, непереносимей: Марк Ефимович торопливо чистил, обрабатывал рану.

— Терпи, терпи, Ваня, атаманом будешь... терпи... Галя, уснула?! Не видишь — заливает! Где у тебя тампоны, черт тебя дернул!.. Так, так, сухой, сухой... и здесь... Молодец!..

Пылали, плавали в красном голоса соседей по палате. То приближались они, будто прямо в ухо кричали, то отдалялись, гасли:

— ...ты смотри, беда какая! На перевязку — своими ногами, обратно уже на каталке везут. Бездыханного. Сколько может вынести человек. И через три дня опять пойдет...

— А толку-то?.. Кому он нужен такой?..

Владимир Макарович Шапко родился в 1938 году в алтайском городе Усть-Каменогорске в семье служащих.

Работал каменщиком, грузчиком в речном пароходстве, мотористом, шкипером. После окончания Уфимского музыкального училища стал профессиональным оркестровым музыкантом-кларнетистом.

Сейчас работает настройщиком музыкальных инструментов в Красноярском институте искусств.

Первый рассказ В. Шапко «Река, полная солнца» опубликован в 1981 году еженедельником «Литературная Россия». В 1984 году в 11—12 номерах «УС» вышла его повесть «Подсадная утка».

— Ну ты!.. Опять каркаешь?.. Жене, сыну — вот кому! Понял?!

— Хххы, жене, сыну... Это спервачка так. С горячки. А придут, увидят его, да без бинтов — не то започуют...

— Врешь, гад! Она письма ему пишет! Она...

— Ну пишет... Ну прочел ты ему три письма — и что?.. Он тебе «спасибо» сказал — и все. А написать-то не попросил. И не попросит... Не-ет, он понимает: хана ему. Потому и молчит все время. Понима-ает...

— Заткнись лучше, падаль, пока... пока костыля не схлопотал!

— Но-но! Полегче на поворотах! О себе б не мешало подзадуматься. Как самого-то примут... Развоевался... Воин одноногий...

Замолчали, враждебно поскрипывая кроватями.

Он лежал не шелохнувшись. Услыхал тупой резиновый постук костылей, потом склоненное к нему лицо.

— Ваня, ну как ты, браток?

Он замер.

— Не взошел еще в себя, бедняга... — отодвинулось, отдалилось и опять тупо застучало от него.

Несильно уже, игольчатым эхом, все пожаливал память тоноусенский голосок: хана ему! он понимает! Хана-а!.. Ежедневный, дребезжащий, желчно-коиздыхающий этот голосок от дальней стены палаты вызывал прежде, помимо злой беспомощной обиды, такой же молчаливый злой протест, несогласие: врешь, подлец, не кончился я! не хана мне! посмотрим!.. Но сегодня не задевали голоса соседей. Безразличны они ему стали. Противны. Противны их и человеческие, и иезуитские слова. Хватит. Точка. Баста.

Глубокой ночью он долго ощущивал в уборной всхлипывающий под потолком сливной бачок. По болтающейся цепочке добрался до сырого осклизлого кольца с острыми незамкнутыми концами. Вывернул его. Оступившись на пол, торопливо стал засучивать рукав. Замер, вслушиваясь... С потолка, словно одна и та же, монотонно падала капля. Ударяла в плечо. Как подталкивала. И не было сил сдвинуться от нее, уйти, закрыться...

В дальней части коридора показался раненый на костылях. Настраиваясь по коридору, тощую ногу в вислой трусине переставлял с замедленностью нерешительного журавля, участвуя тихо костылями. Остановившись. По-птичь выдвигая головой, вслушивался в темную, большую духоту из раскрытых дверей палат... Дальше нога плыла, осторожно ставилась.

Возле глухой узкой двери уборной покашливал, кхекал. Нерешительный, смущающийся. Деликатно, костяшкой пальца, постучал:

— Ваня, ты тута?..

Вдруг увидел кровь. Наползающую из-под двери. К ноге его. Откинулся назад, чуть не вылетев из костылей, закричал:

— Скорей! Сюда! Помогите!..

Не сводил глаз с пола. С окружающей его красной лужи. Зажмуриваясь, колотился в костылях:

— Лю-юди! Лю-ю-юди!..

.
.
.

1. Паровоз заревел — как бы с натугой раздвинул тесноту станции, — подумал немного и рванул состав. Эстафетой побежали, залазгали буфера, вагон дернулся и мимо поплыл длинный глухой пакгауз с перекрещенными кирками и лопатами на стене; застеснявшись, попятилась коричневая уборная с подбитыми окошками наверху — будто с «фонарями»; по перрону, точно назад, торопливо пошагали пассажиры с мешками, узлами, баулами и сидорами; тяжеленький вокзальчик красивой старинной кладки остался позади; пролетел пестрый торговый рядок; оборвался перрон и сворой железных собак к вагонам понеслись станционные стрелки. Замолотились испуганно вагоны — стряхивают, спинавают «зубастых», но поезд уже вырвался из станции, гуднул на прощанье и успокоенно застучал в широко открывшийся горный распадок.

Глаза Кати застлало слезами.

Митька строго посмотрел на мать — опять, мама! — он сидел напротив, у окна, прилежно положив руки на столик.

— Не буду! Не буду! — поспешно достала платок Катя и покосилась через проход вагона на закуток, где на двух нижних полках сидели четверо распоренных самогонной солдат и клокнувший с ними дедок с женой-старухой под боком, которая, поглядывая на мужа, уж очень неодобрительно сложила руки на полном животе.

Сквозь убегающую, шаловливую листву придорожных кустов в окна, в сумрак вагона весело плескалось закатное солнце. Но по другую сторону несущегося поезда, будто в другом — печальном солнце, развешанном по скалам, медленно закруживали вверх словно в красной скорби замершие кедр; тоскливо Катины глаза тянулись к ним, провожали.

А от веселой компании с бодреньким солнцем поплескивался голосок дедка: «...И вот этот Артур-маленький ну не сидит на месте — хоть что ты с ним делай! И пристаёт ко всем, и каючит, да игде пчелки, да игде улья? Хочу пчелок видеть — и все! А гости мои уже захорошели, им не до Артуры, отмахиваются от него самого ровно от пчелы. Ну я давай объяснять ему, мол, пчела сейчас злая (а дело было в самый медосбор, в августе, в начале), беспокоить ее, мол, опасно. А Артура уставился на меня исподлобья, дескать, нехороший ты! Да-а. А гости мои уже песню завели, плывут, как в лодке, раскачиваются. Вдруг этот Артура и говорит чего-то матери своей. На ухо. Та ко мне, дескать, где тут у вас?.. Да помилуйте, говорю, да где душе угодно! У нас тут, извините, сельская местность, природа как бы, так что пушай вон в кустики сбегает. А Артура как полонет меня взглядом — и побежал в кусты. А за кустами-то, на взлобке, — пасека. Метров полста до нее. Но, думаю, не найдет. Проходит этак минут пять — десять, все нормально — гости знай поют, плывут себе дальше. Да-а. Вдруг, глядь, совсем из другого места выскакивает Артура — и понесся, и покатылся по косогору. А из него рой пчел вихрями бьет. Мать честная! Вылетел на поляну — и юлой, и юлой на месте! Все варежки-то и раскрыли. А он: «Мама! Ма-ама!» — и кинься тут к столу, к взрослому, к матери! Рой за ним, и давай бить гостей моих! — Солдаты захохотали, разваливаясь на стороны. Удерживая смех, старуха забурлила как толстощекий самовар. А дедок, вытаращивая глаза, уже кричал: — Чего

тут началось! Гости мои повскакали, стол опрокинулся — и понеслась пляска по поляне, и понеслась! Не помню, откуда дымокур у меня в руках очутился, бегаю, фукаю, пчел тушу и ору как скаженный: «В избу! В избу, черти! Скоря-а!» — Солдаты снова зашлись. — И пошли мои гостенечки один по другому, и пошли — аж избенка закачалась! Х-хе! Хех-х!»

Рыженький солдатик, подстриженный костерком, гнул, переламывался, хохотал и все хотел до конца понять: да как же он? да как же? Артура-то? как все это? Х-хаак-хах-хах!.. Дедок подхехекивал и пояснял: «Так он, Артура-то, чертенок, возьми и ткни прутиком в леток, в улей-то — вот и понеслась душа в рай, а ноги к маманьке! Х-хе!» — «Ой, не могу! Ой, уморит!»

Во время рассказа старика Катя старалась не смотреть в сторону теплой компании, отворачивалась к окну, изо всех сил удерживая смех, но под конец не выдержала и смеялась вместе со всеми. Митька давно хохотал, взбалтывая ногами и запрокидывая голову. «Ну вот, и молодайку распотешили, — уже тихо и грустно сказал старик. — А то сидит, бедная, цельный день как убитая...» Обращаясь к Кате, громко, приветливо позвал их с Митькой в закуток. Чего одним-то там сидеть? Все вместе веселей! Но Катя покраснела и поспешно поблагодарила его. Отвернулась к окну.

За окном пролетел плоский полустанок, телеграфные столбы вытягивали, то подымая, то опуская, бесконечную золотистую пряжу.

А старик все смотрел на Катю с печалью. Будто и не рассказывал только что веселое. Вытирали слезы, крутили головами солдаты. Один из них, вспомнив, выдернул из-под полки темную бутылку. Забулькала в стакан, по кружкам...

— Ну, отец, за победу! — Кружки и стакан сдвинулись.

Старуха нахмурилась, подтолкнула старика:

— Может, хватит тебе, а? Завтра-то чего с тобой будет?

— Ничего, ничего, мать! — Глаза старика бегали по столику, выцеливая чем бы закусить. — За победу — грех не выпить!

— Да сколь пить-то? Третий месяц пошел как победа — и все пьете!

Солдаты и старик только посмеивались, закусывали. Но постепенно искрометный, все время взрывавшийся смехом разговор начал вяло раскачиваться, заплетаться, потом смялся совсем, и, как спасенье, как внезапный выход, все вдруг заорали песню, выкатывая глаза друг на друга и зло дирижируя огурцами:

Акра-асился ме-е-есяц багря-я-яныцам,

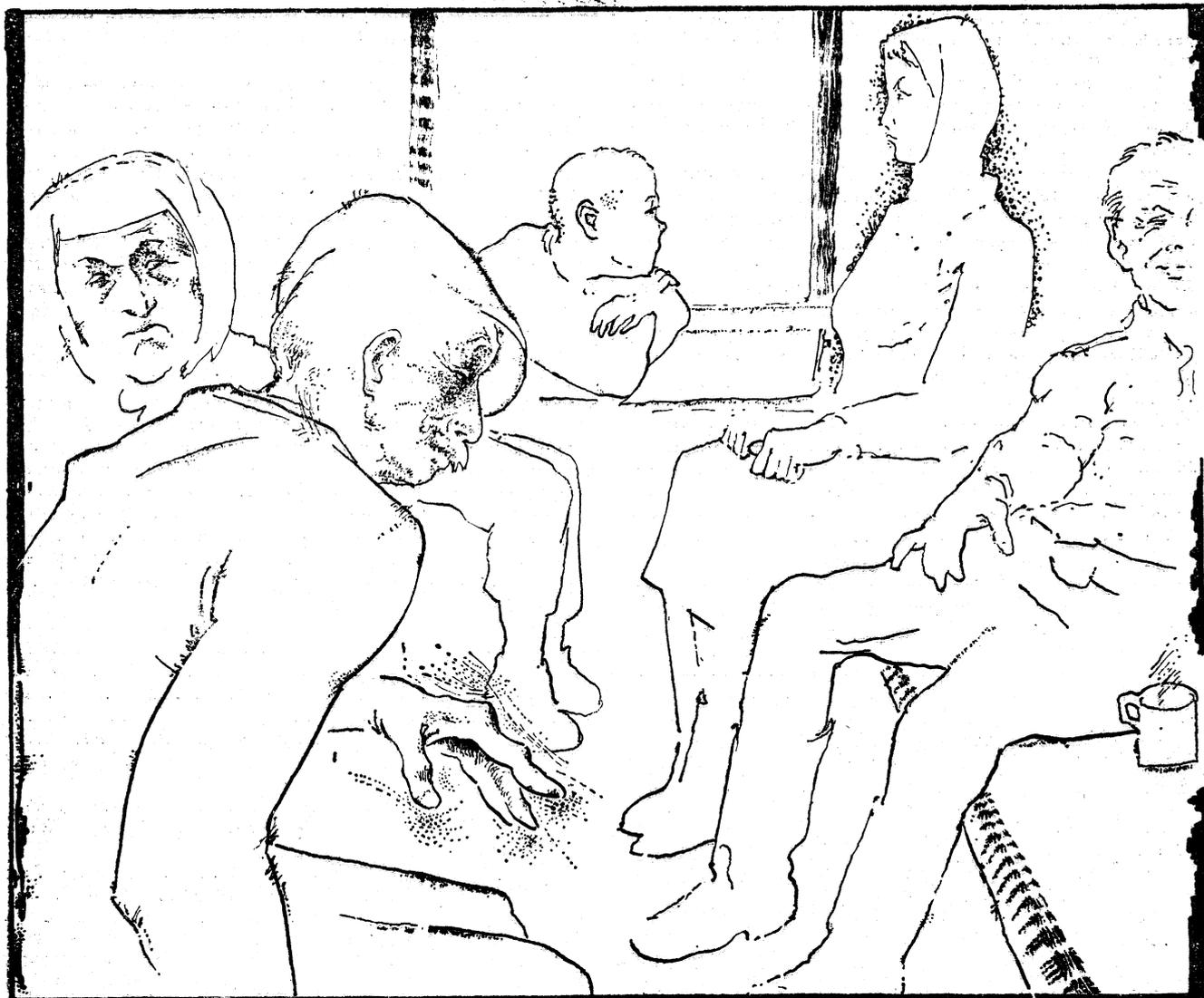
И море шуме-е-е-ела-а-а у ска-а-ал...

— Отец, отец! Окстись! Отец! — стеснительно покашиваясь на Катю, толкала старика локтем старуха. Но тот, как говорится, уже выпал, и его было не достать. Зажмуриваясь, стучая кулаком по колену, деля рот наискось, старик зло орал со всеми:

...Пай-й-эдим красо-о-одыка ката-а-адыца-а-а,

Давыно д я табе-э-э-поджида-а-ал...

Он залетел уже к солдатам, плакал, обнимал их, и старуха осталась напротив одна, с болью, неудобством, беспомощностью трезвого человека только взглядывала на него, не знала, что делать. Напряженно застыл, опустив голову, Митька. Невидяще смотрела в окно Катя.



Потом уже рыжий солдатик долго, молчком мотался перед Катей. Как-то уж больно злопамятно погрозил ей прокуренным пальцем и полез на верхнюю полку, вспрыгивая на нее, взбалтывая сапогом перед Митькой. Митька выскочил из-под полки. Кое-как утолкнулся солдатик и сразу захрапел.

Солнце давно село, за окном по перелескам и лугам, расстилая туманы, бежала ночь. Прошла проводница, вернулась, полезла зажигать свечку над дверью в фонаре. Заодно, потянувшись через солдатика, захлопнула верхнее окошко, и холод ночи разом отрубился и глухо застучал за стеклом.

Среди ночи Катя проснулась. В вагоне — как в душном, скрипучем сапоге. Покачиваясь в проходе вагона, пошла в другой его конец попить. Вода болталась в кружке теплая, безвкусная. Катя выплеснула остатки в ведро под бачком.

Вернувшись, повернула вялого спящего Митьку к стенке, дегла с краю, и сразу все тяжелые, нераспустившиеся думы последнего времени, словно из-под вагона, настойчиво застучали в голову.

2.

В памятное то возвращение Дмитрия Егоровича из командировки Митька с радостным криком влетел в комнату:

— Мама! Дедушка приехал!

Катя побросала шитье, сорвалась за Митькой, во двор, к воротам. Дмитрий Егорович стоял возле полуторки, держась за раскрытую дверцу, что-то говорил Ивану Зиновьевичу, который устало привалился к баранке и будто дремал.

И выгоревшая, приплюснутая фуражка Дмитрия Егоровича, и кургузый пиджачок, и брезентовые сапоги — все словно опадало, оседало вместе с пылью, поднятой полуторкой, делало Дмитрия Егоровича меньше, незаметней в белесом полуденном зное. «Господи, с каждой поездкой все худее и худее становится!» — резануло Катю.

Хлопнула дверца, машина рванулась с места, обдав Дмитрия Егоровича пылью, и в эту пыль с разбега сиганул Митька, обняв дедушку и руками и ногами. Дедушка пах табаком, бензином, пылью и солнцем.

Уже на ходу Дмитрий Егорович коснулся обветренными губами виска снохи... «Ты чего это, Катя?.. Ну-у, опять глаза на мокром месте!»

Пока он плескался, фыркал под умывальником во дворе, а Митька стоял рядом с перекинутым через плечо чистым полотенцем, Катя быстро собрала на стол.

— От Ивана было чего? — Дмитрий Егорович застегивал обшлага рубашки, садился за стол. И хотя он, приезжая из командировок, всякий раз задавал этот вопрос первым, Катю тогда впервые холодно опохнуло: писем больше не будет... Она в ужасе отшатнулась от мысли этой, как от края, от обрыва, рукой закрылась, отвернулась.

— Ну, ну, не плачь... Подумаешь, две недели... — робко сказал Дмитрий Егорович. Словно забыл, когда пришло последнее письмо.

Однако выходит, писем нет уже семь недель... И сжало грудь старику. Но прочь гоня худую мысль, он торопливо начал уверять и Катю, и себя, что не до писем Ивану было. Вон чего под Курском-то творилось. Зато теперь, когда погнали наши немца, написал Иван письмо. Наверняка написал. В дороге оно. Идет. Точно. Со дня на день и ждать надо.

Хорошо верится в то, во что хочется верить, и воспаленный Катин взгляд уже блуждал озабоченно по столу, она пододвигала свекру хлеб на тарелке, солонку, перец.

— Сводки-то слушаете?

— Каждый день. Митька потом весь вечер при-стаёт: где тот город или село, что наши взяли. И сразу: а папа там? папа там? — улынулась Катя.

Дмитрий Егорович с облегчением рассмеялся, потрепал Митьку по голове, заверил, что там его папка, там!

— Дедушка, правда, правда? — завывстреливал словами Митька. Деревянную большую ложку держал он в кулаке как черпак.

— Правда, сынок, — уже с грустью ответил дедушка. — Все они там... — и задумался.

Катя напомнила про щи, что остынут. Дмитрий Егорович встрепенулся, Митьке подмигнул:

— Ох и ши-и! Ох наваристы! С топором! — И оба они, как по команде, заработали ложками.

Подпершись рукой, смотрела Катя на свекра, на худую, словно от жажды, потрескавшуюся шею его, склоненную голову в пепельных волосах... щеки впалые, в глубоких продольных складках... «Господи, и Ваня будет когда-нибудь таким же... стареньким...»

Дмитрий Егорович поднял на нее усталые глаза, предупреждающе покачал головой: не надо, Катюша... И болью остановился в глазах его понимание всей Катинной тоски и тревоги за Ивана, понимание всей их прежней молодой и счастливой жизни, и еще что-то — пронзительно роднящее Дмитрия Егоровича с сыном, но уже стариковское, одинокое, безнадежное, отчего Катинны слезы сами собой побежали по щекам. И бегут, и бегут, хоть что ты с ними делай!

Стало заедать в тарелке Митькину ложку, и она остановилась совсем.

А Катя, чтобы как-то прикрыть наконец слабость свою, внезапную свою обнаженность, спустила вдруг всех, что называется, собак на начальство Дмитрия Егоровича: до каких пор те будут гонять старого человека по командировкам?! Совесть есть у них, или нет?! Сидят, животы растут, а старик...

Остро видел сейчас Дмитрий Егорович, как стала

сноха ранима, как извелась вся за последнее время. И ведь не слезливой какой-нибудь дамочкой была... А вот теперь...

— Так кого посылать-то, Катя? — опустил глаза. «не замечал» слез снохи Дмитрий Егорович. — Молодые-то вон они где... Ну, а если сами будут по району гонять — кто ж за них директивы-то давать будет? Подумай! Ладно хоть старики, вроде нас с Иван Зиновичем, есть, и то хлеб. Ничего, отдохнем пару денёчков, в баньке попаримся, и назад.

Спохватилась Катя: забыла позвать пообедать дядю Ваню... С дороги человек, устал, голодный...

— Звал я его. Так чего ему с нами? Ему домой. Дома жена. Да и от дочери, от Валентины, может, письмо... Все тоже ждут. Как и мы... — Дмитрий Егорович отломил хлеба, склонился к тарелке.

Когда в один из дней января 43-го года, в трескучий алтайский мороз, завхоз райисполкома — он же столяр, он же конюх, он же водовоз — старик Пантелеев по прозвищу Специальные Гвозди, а по-простому Специальный привел нового сотрудника Колоскова Дмитрия Егоровича, по слухам бывшего агронома, «невесть за каки глазки переведенного из району в центр и сразу поставленного в должность, козлики забодай его совсем!» — так вот, когда он привел его к одноэтажному деревянному дому, наискось задумому снегом, то сильно удивился.

И было отчего.

Ни штатетника тебе, каковой он, Специальный, собственноручно городил вот только в осень, ни ворот уже тем более, ни калитки. И стайку как кто наполовину выгрыз. Не говоря уже о том, что, почитай, все окна повыбиты «в квартере, каковую надо пред-ставить чин по чину энтому выдвигенцу, козлики забодай его совсем!»

— Дела-а, — раздумчиво зачесал затылок Специальный. «Выдвигенец» виновато поскрипывал снежком рядом.

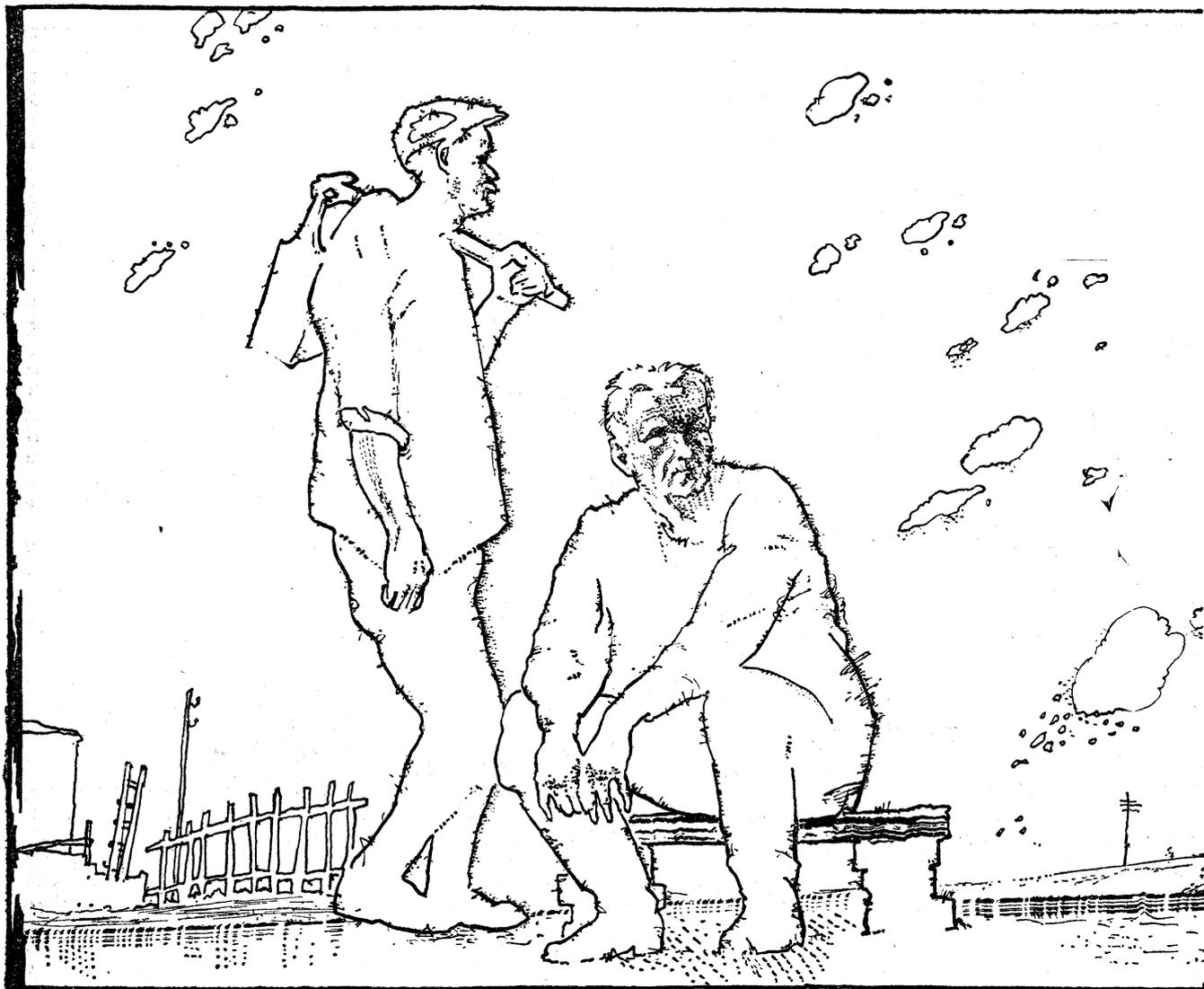
Постучались в соседнюю квартиру — такую за-стали картину: сидит семья эвакуированных по фамилии Виноградские — две сестры, их золовка, с ними старуха и пацаненок, закутались кто во что, колют штатетинки на палочки и кидают те палочки по единой в буржуйку — и лица счастливые такие у них. А по окнам целые сады белые расцвели.

Специальный оставил выдвигенца и семейство знакомиться, а сам пошел назад, в райисполком. Через полчаса вернулся — с пилой, топором и стекольным ящиком. Выдвигенца и сестер нарядил ломать и допиливать стайку, пацаненка таскивать ту стайку в дом, старуху приказал не беспокоить, а сам, откопав в снегу чудом уцелевшую лесенку, «зачал стеклить квартиру энтому выдвигенцу, козлики забодай его совсем!»

Выдвигенец, однако, для первого раза прожарив квартиру до банного духа, выпил со Специальным четушку, переночевал кой-как на полу, а утром ука-тил в командировку, навесив на сенную дверь замок и ключ оставив соседям.

Через неделю из деревни приехали с вещами Катя и Митька. А еще недели через две вернувшийся из командировки Дмитрий Егорович получил в гортопе машину дров, поделил ее с Виноградскими, и жизнь наладилась.

По утрам Катя ходила и ставила в очередь за хлебом пятилетнего Митьку. (Ставила под присмотр кого-нибудь из соседей.) Затем, до привоза хлеба,



шла в райисполком, куда ее с большим трудом «выдвинул» Дмитрий Егорович — печатала на машинке.

Дело в том, что в колхозе Катя работала счетоводом и о машинописи имела самое смутное представление, а сказать точнее — печатала она, как раздумчивая цапля по болоту лапкой наступала. Но у нее был учебник стенографии, неизвестно какими путями попавший в сельскую лавку перед самой войной, и начальство райисполкома, увидав этот учебник, сперва сильно удивилось, потом так же сильно обрадовалось, будто человек, который вот так запросто держит под мышкой учебник стенографии, знает его назубок.

Впрочем, Катя никого не хотела разочаровывать и старательно штудировала учебник по вечерам, выписывая в тетрадку разные крючки, завитушки, закорючки, чем вводила Митьку в искреннее недоумение: что тут сложного и зачем столько трудиться над этими крючками? «Мам, смотри, у меня закорюка красивше твоей получилась. А у тебя... Эх ты!» — «Не мешай!» — почему-то сердилась на него мама.

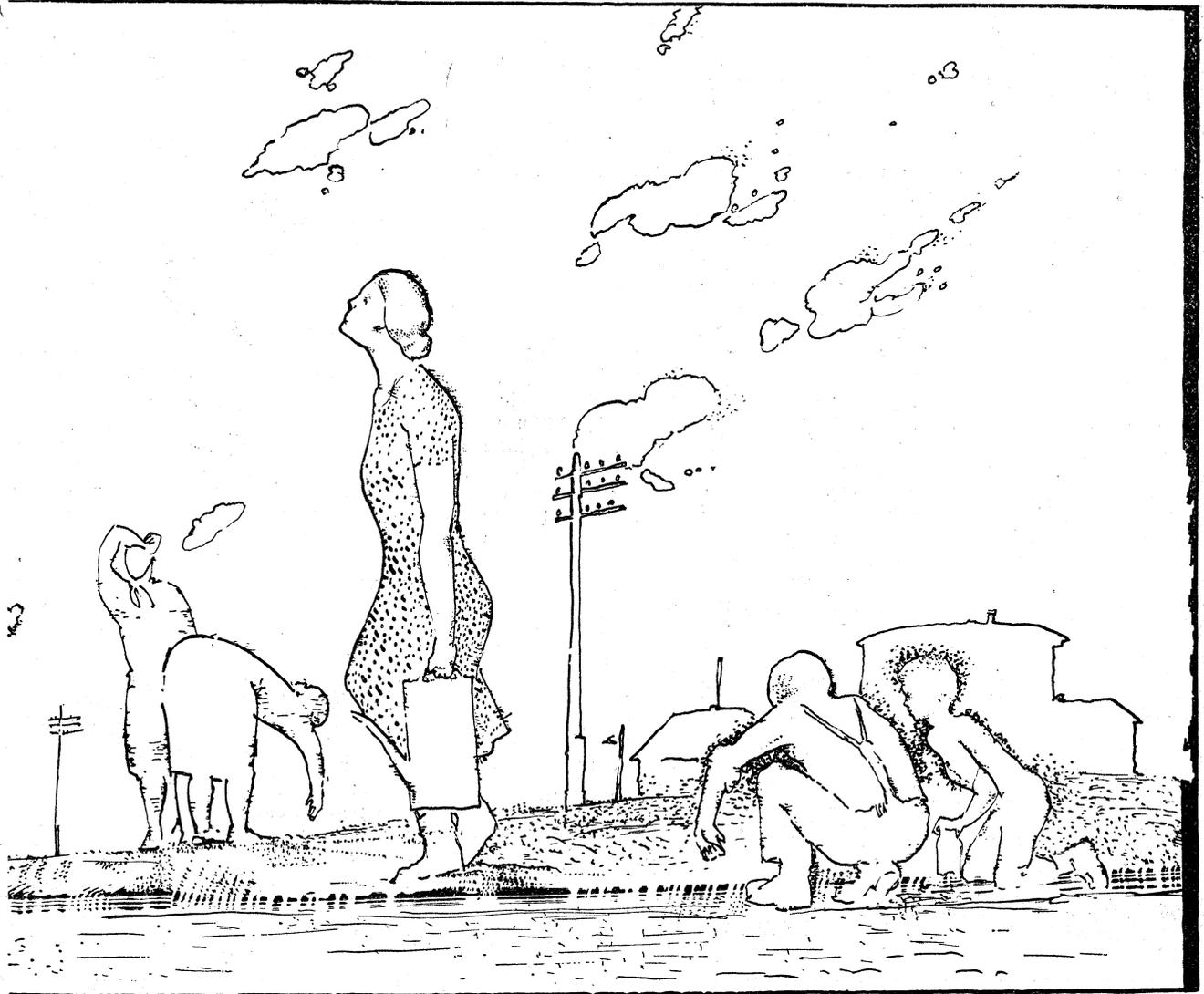
Сестры Виноградские, вернее, две сестры и их золовка, были учителями средней школы. И хотя

между ними была существенная разница в возрасте, все трое были на удивление похожи и болтливы, как галки. Говорить спокойно они не могли — они «галкали», резко взмахивая руками, норовя подпрыгнуть к потолку: «Что вы?! Какая прелесть! Не может быть!» Сын же одной из них, золовки Клары, Боря, когда готовил уроки, сидя за столом в бязевой нижней рубашке и перешитых папиных штанах с помочами, походил на худого, сосредоточенного грача. Боря учился в третьем классе, и учился только на пять.

Сама Ревекка Михайловна, уже высушенная и загнутая в легонький беленький крючочек старушка, еле передвигалась, но имела вам непомеркнувшую живость и юмор в глазах.

Днями сестры бывали в школе, а по вечерам, рассаживаясь вокруг дорогой мамочки, читали письма с фронта. Письма приходили от мужа Клары и отца Бори — гвардии сержанта Виноградского Михаила Яковлевича. На фотопортрете, что висел на стене, Михаил Яковлевич имел узкопоставленные светлые глаза, тяжелый нос и пышные — пшеничными снопами на стороны — усы.

Сестры перечитывали и разбирали каждое пред-



ложение, каждую строчку, слово, ища в них какие-то подтексты, надтексты, строя разные догадки и предположения. Особенно будоражили их вымарки военной цензуры. Да, тут было над чем поломать голову! И если Дмитрий Егорович бывал дома, сестры летели к нему, совали письмо под нос и, как всегда, возбужденно размахивали руками, стремясь к потолку. «Читайте же, читайте, Дмитрий Егорович!»

Дмитрий Егорович, не торопясь, надевал очки, долго, жуя губами, разглядывал сплошь изрубленное лихим цензором письмо, говорил, наконец, что-нибудь наугад, несущественное, предположительное, и, странное дело, сестры тут же радостно соглашались с ним, выхватывали письмо, летели скорей разъяснить все мамочке.

Весной Дмитрий Егорович «выдвинул» себя, Катю и сестер на получение земли под картошку. Катя посадилась, помогла сестрам. За домом Дмитрий Егорович со Специальным огородили штакетником пустырь — вот тебе и огород! Вскопали его все дружно. Опять же со Специальным почистили, поправили завалившийся колодец. Катя купила на базаре семян, потом помидорной рассады, все это

было посажено, и сестры, прыгая с лейками по огороду, радостно вскрикивали: «Какая прелесть! Какая прелесть! Уже этой осенью мы будем иметь свежие овощи! Какая прелесть!» Боря-грач не подскакивал, Боря-грач вышагивал по огороду. В отличие от мамы и тетюшек Боря всегда был очень серьезен. Он приседал к свежевскопанной земле, сосредоточенно изучал в ее пахучих комочках разных букашек, жучков, червячков. Рядом с ним сопливым ассистентом ползал Митька, подставляя Боре длинную стеклянную банку, куда тот и запускал всех этих жучков-червячков. Специальный, навешивая с Дмитрием Егоровичем штакетник, поглядывал на огород, головой покручивал, восклицал: «Вот ить! Глянь, Егорыч, ну чисто галки на пахоте! Х-хе-х! Интельгенция, козлики забодай ее совсем!» Дмитрий Егорович смеялся, а с огорода летело: «Какая прелесть! Какая прелесть!»

И жить бы да жить соседям меж собой так и дальше, поддерживая друг дружку в лхую годину, только подходят однажды Катя и Митька к дому и видят: стоит грузовая машина и какие-то бойкие люди споро таскают в квартиру Виноградских канцелярские столы, стулья... сейф, вон, кажись, по-

ташили. Кинулась Катя: «Где?! Почему?! На каком основании?!» — «Не шуми, не шуми, гражданочка!.. Не шуми... В Козловке твои соседи, в Козловке. Сами переехали...»

Катя и Митька побежали в Козловку, на другой конец городка. Но все оказалось до наивности подло-просто. Утром к Виноградским пришел наркомистокартузистый мужичонка с папкой под мышкой. На папке было написано: «К докладу». Мужичонка все время открывал и закрывал эту папку, перебирал в ней какие-то грозные бумаги. Как следует напугав сестер, он загнал во двор полторку, покидал в нее с шофером нехитрый скарб Виноградских, примчал семью в Козловку и воткнул пять человек в маленькую комнатенку. В барак. На все это ушло менее получаса. Картузистый завязал на папке тесемки, прыгнул в полторку и умчался «докладать о выполнении функции». Сестры закрыли рты, снова открыли и с облегчением завзмахивали руками по новой «квартире».

Дмитрий Егорович пошел по начальникам. Однако все, как ему объясняли, было «законным». Дом был построен перед самой войной дорожными строителями. Дорогу закончили, строители ушли дальше, и дом перешел райисполкому. Оказалось — временно. Сейчас вдруг понадобилось помещение под прорабский участок. Выбор пал на Виноградских. «Благодаря судьбу, дорогой товарищ, что — не на тебя. У тебя площадь меньше — только и всего. Хотя, кто его знает, может, и твоя понадобится...»

Дмитрий Егорович записался на прием к председателю горсовета. Приняла его пожилая толковая женщина. «Семья фронтовика... ребенок... большая старуха... пять душ на двенадцати метрах...» Вопрос был решен в несколько минут. Виноградским дали, правда, тоже в бараке, но две комнаты. Рядом. Спешивший прорубил в стене дверь. «Какая прелесть! Какая прелесть! У нас двухкомнатная квартира!» — выпархивали счастливые сестры из одной комнатухи в другую.

3.

Из железного ржавого унитаза, как из басовой трубы, грохотала железная дорога. Покашываясь на унитаз, Митька торопливо умылся и, уже вытираясь полотенцем, испуганно наткнулся взглядом на какого-то мальчишку сзади в зеркале на стене.

Мальчишка тарашился, лицо его будто пережевывалось и было в желтых пятнах... «Да это же я!» — рассмеялся Митька. Судорожно дакнул педаль сбоку унитаза и, как от обвала, от лавины, выскочил в спасительный коридорчик.

Из нижней полки Катя уже подняла и закрепила столик, доставала еду из кирзовой сумки. Митька уселся на вчерашнее место — к окну, навстречу движению. Плотные перелески выкидывали, веером разворачивая утреннему солнцу, поля в зеленой, гуляющей на все стороны пшенице и далекие, завалившиеся за край земли деревеньки. Вдоль железной дороги на открытых местах торопливо городились серые щиты снегозадержания. Внезапно провалившись, извилистая речка испуганно засеребрилась в оползневелых берегах. Замахался фермами железнодорожный мост, и снова выскакивали перелески, торопливо расстилали солнцу зеленые поля.

А в самом вагоне из каждого закутка в проход, к солнцу смотрела сдержанная с привычного места и стучащая неизвестно куда жизнь людская, со своими радостями и печалью, надеждой и разочарованием.

Вчерашние солдаты исчезли — ни вещмешков, ни шинелей, — сошли, видно, ночью или под утро: Катя и не слышала. Уже умытый, опрятный, тихий, старик поглаживал ладонями колени, покачивался и осторожно намекал жене насчет «капиточку». Чайку чтоб, значит, сообразить; глаза у него красненько грустили, как у винового окуня.

— Станцию жди! — зло обрывала его старуха и передразнивала: — Капито-очку! — Она рылась в сидорке и, утихая, все доварчивала: — Капиточку ему подавайте...

Старик глянул на Катю: во какая! и с такой я живу! А?.. Катя улыбнулась, о чем-то тихо сказала Митьке. Тот схватил маленький алюминиевый бидончик и побежал в другой конец вагона; привязанная к дужке крышка зазвякала как ботолко на жеребенке.

— Вот... кипяточек... — Митька застенчиво навесил перед стариком закрытый крышкой горячий бидончик. Старик аж поперхнулся изумлением: откуда? как?

— А из бака, из бака! Титан называется! — затараторил Митька, лишней раз показывая свою полнейшую осведомленность образцового железнодорожного пассажира, роль которого он сразу же взял себе, едва отправившись с матерью из железнодорожного пункта А в железнодорожный пункт Б. — Пыхтит как паровоз... Титан... — Тетенька-проводница вскипятила. Только что!

С благоговением, обеими руками принял бидончик старик. Открыл крышку, вдыхал пар, головой качал, все Митьку благодарил. Принял было от старухи «злую» пачку чаю, однако пачка так начала толкаться у него в руках, что пришлось отложить. Старуха выхватила, и старик деликатно смотрел, как она насыпает чай в бидончик, — ухилился. Весело, как вчера, позвал Катю, приглашая их с Митькой в свой закуток: кавалеры-то сошли ночью, один теперь кавалер-то остался, да и тот большой, хе-хе... Старуха и Митька с ожиданием смотрели на Катю.

Катя рассмеялась, выдвинула из-под полки чемодан. Митька радостно подхватил. Быстро перебрался.

— Ну вот, давно бы так! А то на самом проходе... Толкают, задевают все кому не лень, а тут как у Христа за пазухой!

Катя и Митька смеялись.

Чай в бидончике заварился крепкий, душистый. Старик пил его трепетно, обняв кружку ладонями, глаза блаженно закатывал, раскачивал в восхищении головой, точно и не кружка это с чаем у него в руках, а его расслесканная вчерашней попойкой душа, которую он наконец-то собрал кой-как в эту кружку и осторожно, по крохам, маленькими глоточками переливает сейчас на свое, положенное ей, душе, место.

Чуть придя в себя, спросил:

— Далёко путь держите, дочка?

Катя подавала Митьке хлеб и замерла, как застывшая врасплох. Опустив глаза, тихо сказала:

— В. Уфу... — Митька схватил ее за руку.

Но старик не замечал Катиной напряженности, добродушно говорил:

— А мы в Челябину. В Челябинск, значит. Попутчики, стало быть. Хорошо... вместе когда... Никак к родственникам?

— К мужу,— опять тихо ответила Катя.— В госпитале он...

Удивился старик, что в конце войны ранило. Хотя война-то... она и есть зараза-война: когда угодно достанет... Стал успокаивать Катю, с уверенной утвердительною говоря о легком ранении, но увидел, как Катя еще ниже склонила голову, испуганно воскликнул:

— Никак тяжело, дочка?..

Катя кивнула.

— Так-так-так! — поспешно затоковал старик, ожидая пояснения и лоя ускользящий, какой-то больной взгляд Кати.

А та, натываясь на напряженно-участливые глаза старика и старухи, почувствовала, что сейчас заплачет. Подбородок ее задрожал, глаза захолоуло слезами.

Старик и старуха мгновенно поняли, что не надо дальше расспрашивать, не надо. С деликатной поспешностью простых, душевных людей наперебой успокаивать стали, утешать:

— Ничего, ничего, дочка! Все наладится! Поправится твой муженек! Поправится! Вона у нас Кольша... зеть... тоже, какой тяжелый был — выходили! Поправится, как пить дать! Да-а!..

И замолчали оба разом. И не знали, куда глядеть. И словно взбаламученные их мысли, за окном неслись, рябили по косоугору утренне рослые тени вагонов.

Чуть погодя старик кхекнул и начал с нейтрального, поинтересовавшись, где Катя и Митька сели. На какой станции?

Катя назвала городок, что с юго-запада присоседился к Алтаю.

— Смотри ты, и мы там! — обрадовался старик. — Рядом с ним мы. Шестьдесят верст до деревни нашей... — И вдруг прищурился дошло: — А ты, никак, дочка, наша — деревенская, а? Иль ошибаюсь я? Может, городская?

— Да из деревни мы! — рассмеялась Катя. — Из Зырянского района. Два с половиной года в городе-то.

— Из Зырянского, значит? — словно подвох готоя, подозрительно переспросил старик.

— Да, да! И я вас знаю! Вы — Панкрат Никитич! (Старик и старуха испуганно переглянулись). Вы из Покровки! А мы — рядом, из Предгорной!

— Из Предго-о-орной? Земляки-и? — выпучил глаза старик. — Да что ж ты целны сутки-то молчала? А? Да-а! Сутки едет — и молчит! Знает — и молчит! Ну ба-аба! — мотал он удивленно-радостной головой.

Быстро выяснилось, что, оказывается, Панкрат Никитич знает Дмитрия Егоровича. И знает давно. Еще со времен мутной колчакщины, когда ты наплескало со стржевной Транссибирской на Алтай, и она долго усыхала там в двадцатые годы по глум, медвежьим углам. Дельный, толковый был командир Дмитрий Егорович. Не какой-нибудь горлопан залетный с кобурой да в кожане, а свой, доморощенный, из крестьян. Хоть и до революции еще своим горбом в образованные выбившийся, а все одно свой, потому как на той земле, откуда вышел, остался. Потому как понимал, жалел мужика. Этот не сыпал

людей в бой, как картошку. Этот, другим разом, и улепетнуть от противника за стыд не считал. Полежит в кусточках, отдышится, перекурит, да и ударит совсем по другому селу, где его... ну никак этим разом не ждут. И ударит-то совсем уж «бессовестно» — на рассвете: и бегут колчачишки, подштанники поддегивая да матерясь. Осторожный был партизан Колосков, хитрый. Не пришлось, правда, Панкрату Никитичу быть под его началом — в других местах с винтовкой бегал он в то время по тайге, но наслышан был про дела боевые Дмитрия Егоровича, много наслышан. А после, уже в коллективизацию, и встречался с ним не раз. Уже лично. Бывал тот и на пасеке у него. А вот и со снохой да внуком его довелось познакомиться. Да где! В поезде! Скажи кому — не поверит! Деревни-то в пятнадцати верстах друг от друга!..

Тут же вспомнили сторонку свою родимую и объединенные тихой и радостной благодарностью к ней умолкли, вслушиваясь в перестук колес...

Но быстро пробежала череда приятного и радостного мимо Кати, и опять виделся ей одинокий за околицей тополь, и рядом с ним — Иван. Ссутулившийся, в телогрейке, сидорок — в руках. Какой-то взнезাপно осиротелый. Точно разом и навсегда отрубленный от родных. От отца, от жены, от сына... Толпились низко злые непролившиеся облака, отрешенно шуршал сохлой осенью тополь, а мимо вниз по угору, к зябнушему Иртышу, к переправе, уже двигался обоз новобранцев. Молчаливый, вслушивающийся в себя, как пухом облепленный бабами, ребятами и стариками. И слышался только вязкий позвяк копыт и колес о камни и сырые скрипы телег...

Улыбка Кати стала остывать...

4.

Митька достал из своего баульчика тетрадку и остро отточенный карандаш. С обложки тетрадки сморщенным, мудрым яблоком улыбался народный поэт Абай в тубетейке. Пониже него было написано: «Дорожные наблюдения и впечатления Дмитрия Колоскова».

Раскрыв тетрадь, Митька посмотрел в окно на убегающие лесистые взгорки, на пятящиеся в небо высокие скалы. Укрепил поудобнее руку на баульчике и написал: «Природа горного Алтая довольно-таки разнообразна и интересна».

Панкрат Никитич проследил за Митькиным взглядом в окно, затем за петляющим карандашом, любознательно спросил:

— Митя, и чего это ты отметил в тетрадку?

— Я записываю дорожные впечатления, дедушка. Мне так посоветовал Боря. Мой друг, — объяснил Митька и озабоченно добавил: — Боюсь только, не хватит тетрадки — дорога предстоит еще довольно-таки длинная.

— Ишь ты! — хлопнул себя по коленям старик и поделился со всеми восхищенным взглядом.

Катя погладила Митькину голову, сказала:

— Он у нас круглый отличник! — но увидев смущение Митьки, смягчая его, поспешно добавила: — Как и его друг Боря.

Митька мягко отстранился от материнской руки, склонился к тетрадке и запелтял карандашом дальше.

В прошлом году, вконец измученный обещаниями, Митька не выдержал и пошел записываться в школу сам. Один.

А что на самом-то деле! Обещают, обещают каждый день, а сами не ведут. Ни мама, ни дедушка! Давно уж все записались: и Вадыка Пуд, и Гостенек, и... и... ну все-все! А у него и пенал уже есть, и две тетрадки, и карандаш, и стиральная резинка, и чернильница-непроливашка, и... портфель... будет... наверное... И не записан! До сих пор! Август на дворе!

Митька вымыл на крыльце в тазу ноги, посмотрел на утреннее, но уже снопастое солнце,— жарковато, пожалуй, будет, подумал, однако пошел в дом, надел короткие вельветовые штаны, застегнув у колен пуговицы, затем носки, ботинки и свою любимую капитанку—длинный зеленый шерстяной пиджак с двумя рядами золотых пуговиц, пущенных по животу, и двумя—из шелковых шнурков—якорями на отпалах рукавов. На пуговках, само собой, тоже якорьки.

Из ящика комода, порывшись, Митька достал метрики. Так, Дмитрий Иванович Колосков 1938 года рождения, 15 января. Не хватает, правду сказать, Дмитрию Ивановичу четырех месяцев до семи хотя бы лет, но это уже пустяки, мелочи. Читать-то Дмитрий Иванович—запросто, считать до сотни—хоть среди ночи разбуди, писать и то—шпарит печатными, не утонишься, как заборы городит. Так что чего беспокоиться? Запишут.

Митька взял большой и плоский географический атлас под мышку, навесил на сенную дверь замок. Ключ положил под крыльцо. Отправился.

Первая, серьезная книга, с которой Митька познакомился, была книга Чуковского «Чудо-дерево». Дмитрий Егорович купил и привез ее как-то из города (это еще в деревне было), и привез, как оказалось, на свою и Катину «погибель»—Митька денно и ночью ходил за ними с этой книгой, чтобы ему ее читали. А тут уж кто под руку попадет—мама ли, дедушка—неважно: лишь бы читали. Митька не ныл, не канючил—он просто приходил, к примеру, в дедушкину комнату, солидно забирался на табурет и сидел, серьезный, с книгой в руках. Будто он ученик и пришел на урок. А будет урок или нет—за это он, Митька, не отвечает. Пришел, сидит—и все!

«Митька, ведь ты ее наизусть знаешь! Сколько можно читать одно и то же? Не надоело?»—Дедушка глядел на него поверх очков, оторвавшись от своей газеты.

С большим удивлением глядел на дедушку Митька. Странное дело такие речи слушать! Разве может надоест книга?.. Если это—книга?

Дедушка кричал, откладывая газету, брал у Митьки «Чудо-дерево».

И только живя уже в городе и заявившись как-то со своей любимой под мышкой к своему соседу, Боре Виноградскому, Митька обнаружил у него полное понимание и поддержку.

Однако Боря книгу читать не стал, тем более что Митя сразу с порога заявил, что он умеет читать... эту книгу. Боря полистал «Чудо-дерево» и попросил Митю прочесть... ну, хотя бы вот эту страницу.

С готовностью попугая Митька отбаранил всю страницу от начала и до конца. Да еще пальцем по строкам вел, как бы показывая, где он в данный момент читает. Чтобы Боре было легче следить.

Боря удивился. Однако с проникательностью истинного исследователя попросил прочесть еще раз... нет, нет, эту же страницу, только с другого места—со середины, и отчеркнул это место ногтем. Чтобы Мите было видно, откуда начинать.

Ученик, как утопающий за соломинку, начал бубнить весь текст опять от начала страницы. Пальцем, однако, вел от указанного Борей места, то есть со середины, и палец этот его все замедлялся и замедлялся, пока не стал окончательно внизу страницы—все «прочел» палец. А продолжающийся, замирающий Митькин голосок уже зачитывал ему, этому чертову пальцу, окончательный приговор. И куда только спрятать его от стыда, этот палец!

«Так, так!—довольно потер руки Боря и, взглянув Митьке в опущенное лицо, весело и участливо спросил:—Ничего не знаем, да, Митя?»

Митька еще ниже склонил голову. А ведь так учила его читать очень красивая девочка Лена. У нее еще был упругий красивый бант на голове и такое же, как бант, упругое прозрачное платьице. И была она от этого красивая и упругая, как стрекоза. В деревне это еще было. Перед самым отъездом сюда, в город. На дне рождения. Они сидели рядом на диване, и Лена так читала. Митька тогда сразу научился. И выходит, он и не умеет читать...

«Ну, ну, не плачь! Твое дело поправимо. У тебя отличная память. Я быстро научу тебя читать».

И действительно: не прошло и двух месяцев, как Митька свободно читал. А заодно и до сотни считать выучился.

«Ну, Боря! Ну-у, Боря!»—восхищенно мотал головой Дмитрий Егорович, когда Боря, собрав всех Виноградских и Колосковых в одной комнате, начал демонстрировать Митькины и свои, разумеется, как педагога, успехи. «Забили ли партиячки хозяйств в этой крайней ситуации тревогу?»—вопросил у дедушки, развернув его газету, пятилетний Митька.—Нет! Не забили! Партийные собрания и заседания у них шли своим чередом...»—чирикал по-русски Митька, не понимая половины слов. Сраженные успехом педагога и ученика, сестры взмахивали руками вокруг: «Какая прелесть! Какая прелесть!» А Дмитрий Егорович все гудел, никак в себя прийти не мог: «Ну, Митька! Ну-у, Боря!»

...Начальная школа им. Ушинского, куда держал путь Митька, была известна ему давно и преотлично. Еще с той зимы, когда Боря учил его читать. В хорошую погоду Митька, держа Боря за руку, шагал с ним в эту школу. За плечами у Митьки горбатился Борин ранец. Если не тяжелый был, не полностью набит учебниками. Когда же Боря сам нес ранец—Митьке давал чернильницу-непроливашку, закутанную в теплый, стяннутый сверху веревочкой, мешочек. И хотя чернильница называлась «непроливашкой», Митька нес ее не раскачивая и не болтая, держа руку с ней чуть впереди себя.

У дверей в свой класс Боря принимал чернильницу, благодарил Митю и говорил, чтобы тот шел теперь домой. Митькины глаза сразу наполнялись слезами. «Ну опять!»—Боря возводил взгляд к потолку. «Ведь договорились!.. Ну хорошо, хорошо, не плачь! Но только один урок! Только один! Слышишь?» Митька кивал: он слышит. Тут же радостно плескался звонок, ребяташки с шумом кидались из коридора в класс, и Боря, подхваченный ими как наводнением, крутил головой, пытаясь что-то еще сказать Митьке,

но дверь захлопывалась. А по коридору уже шли учителя. К Бориному классу подходила высокая, красивая учительница с длинной черной косой. Останавливалась. С улыбкой смотрела на Митьку. Митька опускал голову. В руках у него была шапка и мохнашки-рукавички. Учительница гладила Митькину стриженую голову и уходила в класс. Потом уборщица, тетя Зина, выносила табуретку: «Садись, Митя!»

В расстегнутом полушубчике сидел Митька по середине коридора и, скослапив ноги в катанках под табуретку, дымно парился в солнце, которое ласково заступило ему на спину из окна. С катанок на пол стаивал снег. А справа и слева из полуоткрытых дверей классов, как из дрессированных ульев, летело солнечно, сильно:

...Ма-ша люб-бит ка-шу!..

...пятью пять — двадцать пять!

пятью шесть — три-и-идцать!..

Блаженно улыбаясь, Митька шептал себе: «Это школа...»

...В учительской за столом сидела совсем незнакомая Митьке тетенька. Она что-то быстро писала длинной ученической ручкой. «А где же учительницы?» — подумал было Митька, но тут же уставился на ручку тетеньки, на перо. Перо шустрым сверчком бегало и пело на бумагу... Ловко! Так даже Боря не смог бы, наверное...

Тетенька вздрогнула.

— Фу ты! Как напугал!.. Чего тебе?

Митька бодро поздоровался и сказал, что пришел записываться в школу. В первый класс.

— Так...— удивленно разглядывала его тетенька.— И сколько же тебе лет?

— Мне сейчас шесть, но скоро будет семь. У меня и метрики есть, тетенька! — Митька поставил атлас к ноге, расстегнул капитанку. Протянул тетеньке метрики. Снова взял атлас под мышку.

Тетенька повертела метрики в руках и, не найдя ни на одной из их сторон того, чего искала, протянула Митьке обратно, сказав, что рано. Не дорос. На следующий год.

— Тетенька, я...— Митька хотел сказать, что он уже и...

— На следующий год! — строго посмотрела тетенька.— Иди!

Митька пошел.

— Стой!.. Что это у тебя?..

— Это атлас, атлас! — кинулся назад к столу Митька.— Географический! Мне Боря его подарил! Насовсем!

— Он же не нужен будет тебе. До пятого класса...

— Это же интересно, интересно, тетенька! Вот смотрите, смотрите, это Австралия, а тут уже Новая Зеландия, а это...

— Не надо! Не показывай! — нахмурилась тетенька.— Иди домой. Придешь через год... Иди, иди! — видя, что Митька стоит, заотмахивала она рукой.

— Это же интересно... тетенька...

Как вышел из школы — Митька не помнит.

Наткнулась на него Оксана Тарасовна, бывшая Борина учительница. Во дворе. Спросила, что он тут делает... Да что с ним?!

— Не при-и-няли!! — отчаяньем и тоской про-рвалось из Митьки.

У Оксаны Тарасовны сузились темные глаза.

Постояла. Решительно закинула косу на спину и, схватив Митьку за руку, потащила за собой.

Митька стоял со своим атласом в учительской и ковырял ногтем краску на двери. От стола смазывались тихие слова: «...я не знаю, Оксана Тарасовна, какая до меня была завуч, но у меня порядок будет!..» — «...но, Мария Ивановна... два года ходит... читает... считает...» — «...распоряжение горono, только 37-й год... школа переполнена... своих в Ленинку... Игорь Николаевич...» — «...так знает, знает Игорь Николаевич!.. еще весной!» — «...под вашу ответственность... под вашу... я умываю...»

И вот наконец Митька был подозван к столу, и Оксана Тарасовна, взяв у него метрики, светло и торжественно объявила ему, что он принят в первый класс «Б» и пусть завтра приведет в школу маму или дедушку.

Митька бросился было к двери, но Оксана Тарасовна со смехом остановила его и попросила прочесть им какое-нибудь стихотворение. На прощанье.

— Какое? Я много знаю...

— Ну... самое любимое. Атлас пока можешь положить.

— Не-е, с атласом лучше, Оксана Тарасовна.— Митька откашлялся и начал:

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.

Белый пар по лугам расстилается.

По зеркальной воде, по кудрям лозняка

От зари алый свет разливается...

Красный от слез и радости Митька звенел, как колокольчик. Покачивая головой, шевелила за ним губами Оксана Тарасовна. «Тетенька» сидела испуганно-прямо и во все очки таращилась на маленького восторженного карапета с атласом под мышкой...

...Едет пахарь с сохой, едет — песню поет;

По плечу молодцу все тяжелое!..

Не боли ты, душа! отдохни от забот!

Здравствуй, солнце да утро веселое!

5.

— Рубцовка! Рубцовка! — испуганно мчал вскрики по вагону потный выпученный мужичонка.— Рубцовка! Чего сидите-то! Рубцовка!

Все разом вскочили, всполюшно засуетились, полетели в проход вагона мешки, узлы, чемоданы. Взвизги женщин, рев детей.

Катя металась по закутку, быстро собирала посуду, остатки еды. В узелок все засовывала, в сумку. Тут же пыхтел с сидором Панкрат Никитич — уминал в него здоровущие кирзовые сапоги, которые вез в подарок «зетю» Кольше и которыми только что хвалился Кате. Но теперь вот чертовы сапоги не лезли обратно в сидор, хоть тресни! Старуха маялась, глядя. Не выдержала, выхватила сидор, сама запыхтела. «Ничего не может! Ничего! Только б болтать! Только б болтать!.. На, держи!» Панкрат Никитич виновато подхватил сидор, но охлестывая веревкой его горловину, еще и Митьке успел подмигнуть, дескать, ну грозная — беда! Митька быстро улыбнулся в ответ: он понимает и сочувствует дедушке. Однако сам торпливенько застегивал пуговицы капитанки, спешил.

Из соседнего закутка все время вылетал испуганный детский голосок: «Где? где рубцовка? саблями, да? мам, саблями, да?» Привычно-четкий шлепок матери выпульнул в проход вагона мальчонку лет

четырех. Белоголовенького, со спустившейся проймой коротких штанишек. Мальчонка испуганно потоптался и судорожно запустил указательный палец в правую ноздрю. Как на замок спасительный закрылся. И на Митьку воззрился в ужасе. Митька рассмеялся и успокоил малыша, заверив его, что это станция такая, название, и никаких «рубцовок саблями» там нет и быть не может. Не бойся, глупенький!..

Малыш недоверчиво поспеел, но «замок» все же разомкнул.

— Кампас-с-сировать! Кампас-с-сировать! — улавливаемой птицей заметалось по вагону.

Вздрыгнул малыш, к Митьке вертанулся — а?!

Митька и тут детально разъяснил, что означает это слово, ничего страшного в нем нет, и догладил малыша.

Катя поторопила Митьку, но тот уже одет — короткие вельветовые штаны, длинная капитанка, баульчик в руке, — вышел в проход вагона, стал у окна: он — образцовый пассажир железной дороги. «Так, станция довольно-таки интересна и разнообразна», — любознательным поплачком покачивается, водится в окне торчащий вверх козырек его кепки.

А по перрону, не дожидаясь полной остановки поезда, уже бежали, волочили, толкали коленями тяжелые связки мешков, чемоданов, падали железнодорожные пассажиры — все стремились куда-то вперед, вперед поезда, вытаращивая глаза.

Малыш в вагоне не зря опасался «рубцовки саблями». Была рубцовка. Да еще какая...

В низенькое оконце билетной кассы какими-то упорнейшими, непобедимыми живцами всверливались густо мужики. Мамай! Куликовская битва! И в бьющемся этом, орущем воинстве — неизвестно как попавшая в него — Катя.

— Мама! — кричал Митька. — Ма-а-ама!

— Стой у вещей! Не отходи... от вещей! — билась, выдавливалась вместе с криком наверх голов Катя. — Не от... ходи-и!

И вдруг пошла лупить кулаками направо-налево. Прямо по башкам. Расшатнулось воинство. Недоумевает: ненормальная, что ли? Катя тут же нырнула к кассе. Вынырнула обратно и вышвырнулась из клубка. Мужики опомнились — в рубцовку!

— Ну, чего нюни распустил? — Катя улыбалась, победно помахивала закомпостированными билетами: — Дальше едем! — Платок у нее съехал на ухо, волосы крылом на одной щеке, длинная царापина — на другой: красотка, да и только!

— Ма-ама... — обнялся, прижался к матери Митька.

Внезапно увидели Панкрата Никитича и тетю Машу. В толпе, неподалеку. Старики растерянно топтались, обставленные своими мешками. «Господи, как же про них-то забыли?» — уже проталкивалась к ним Катя.

При виде ее Панкрат Никитич обрадовался, но тут же сник, и словами, и всем видом своим выражая их досадное со старухой опозданье.

— А все ты, ты-ы! — мстительно заскребла его старуха. Красная, злая. — Люди бегом, бегом, а он вышагивает, а о-он вышагивает: успею, куды мне торопиться, мне спицально билеты приготовлены, дожидаются мне... Э-э!

— Да будет тебе... — стыдился за жену старик.

Катя решительно потребовала их билеты. Старик начал быстро ошупывать себя, прилежно вспоминая,

но старуха уже оправляла подол и протягивала билеты Кате. Катя ринулась к кассе.

— Ты глянь, опять эта ненормальная! — испуганно раздавливались на стороны мужики.

Катя лезла.

— Мне только узнать! Узнать мне то... лько! Узна-а-ать!

Нырнула...

— Вот нахалка так нахалка! Второй раз! Без очереди!..

— Да выкиньте ее!

— Да чё ж это тако, мужики?

— Да выкиньте ее, стервь! Вы-ы-ыкиньте! — упорно ныл поверху гундливый голосок.

Катю выкинули. Но билеты в руках — закомпостированы.

Билеты стариков почему-то пронумеровали не в пятый вагон, как Катя просила, а в восьмой, и Панкрат Никитич сильно огорчился. Катя стала заверять его, что в Новосибирске постараятся попасть в один вагон, вместе, что так уж получилось. Просила она. Без разговоров сунули билеты — и все... Но старик все сокрушался, да как же теперь они не вместе-то будут, и жалко это, конечно... ах ты мать честная! Как же?.. Непоправимую оплошность будто допустил. И виноват сам, а не равнодушная кассирша, что выкинула билет — и: следующий!

— Ну, чего привязался к людям? — толкнула его локтем старуха. — Сказали тебе... — И словно извиняясь за непростительную слабость старика, поясняла: — Он у нас такой... Привязчивый. Как малой. Не дай бог!

Старик, как нашкодивший, виновато посмеивался.

Нужно было идти в город отоваривать карточки.

У стариков карточек не было. «Нам не положено. У нас все свое должно быть. Мы из деревни. Мы — богатеи!» — пошутил Панкрат Никитич.

— Но может — что без талонов будет? — предложила ему Катя. — Селедка? Чай?.. Мы купим?..

Продолжая чудить, старик яростно охлопался по карманам. Крутанулся к жене: где деньги, жана?! У старухи глаза сразу забегали, как в осаду попав, в окружение, она зло глянула на мужа, стала хватывать подол рукой.

Деньги считала долго, отвернувшись от всех. (Старик подмигивал Кате: беда-а!) Принималась зачем-то гмыкать, покашливать, кряхтеть. Шелест денег чтобы заглушить, что ли?.. Повернулась, наконец:

— Вот, дочка, шестьдесят. Перешитай!

Катя пересчитала — все верно: шестьдесят. Пусть не беспокоятся — если будет что, купит, сдачи принесет.

— Только вы уж, дочка, вешнички-то оставьте, оставьте... — Глаза старухи снова забегали. — А мы покараулим. Оставьте...

Старик долгим взглядом посмотрел на жену...

— Да... да, оставьте, — все прятала та глаза. — А мы покараулим, покараулим, оставьте...

Катя постояла. Густо, всем лицом, покраснела. Сказала, что сама хотела просить их об этом. Подвинула свои вещи к ногам стариков.

— Митя, давай и твой баульчик. Тетя Маша покараулит... Ну, чего ж ты?..

Ну уж нет, со своим баульчиком он, Митька,



расстаться не может. Никак не может. Даже если б это нужно было для успокоения десяти тетей Маша! Какой же он железнодорожный пассажир без ручной клади? Неужели не понятно?

— У, упрямый!

Глядя им вслед, старик дергал себя за ухо, отворачивался, стыдился самого себя. Не выдержав, слезливо застенал к жене:

— Чего ж ты, а? Вместо благодарности, а? Чуркмы, выходит, а-а?..

Отвернувшись от него, старуха растопыривалась к полу, улавливая сидора, сгуртовывала их, как ба-ранов, что-то зло бормоча...

— Тьфу! — плюнул в сердцах старик.

Ночью в битком набитом людьми общем вагоне удерживала Катя на коленях голову спящего Митьки. Все те заботы, переживания, трудности и неудобства дальней дороги, спасающие Катю днем, теперь безжалостно ушли, оставив ей — ее: беззащитное, больное, в грохоте колес без исхода бьющееся под ва-

гоном; почему ты столько время молчал? почему ты столько время молчал? почему ты сейчас молчишь? почему ты сейчас молчишь? почему? почему? почему?..

Задыхаясь, мучаясь в летящей, грохочущей этой черноте, сознание торопливо выбиралось наверх, к тусклому свету, к вагону, не могло прийти в себя, отдышаться, стремилось перенестись, перекинуться на другое — здоровое, не больное, спасительное... Она опять старалась надеть на себя все дневное, привычное. Вспоминала работу, дом. Приходят ли поливать их общий огород сестры Виноградские — вон какая жара-то днями стоит? А может, там дожди?.. Думала о Дмитрие Егоровиче. Как он там один?

И все это — тоже ее, тоже неотделимое — отступивало дальше и дальше, оставалось где-то там, за вагоном, за поездом, в необозримой лунной ночи...

6.

В райисполкоме Дмитрий Егорович Колосков находился в громкой должности главного агронома района, но более неподходящей работы для 63-летнего

старика придумать было трудно: круглый год приходилось мотаться ему по району из одного конца в другой: в устойчивую погоду — с Иваном Зиновиевичем на полutorке, в распутицу и метели — с Пантелеевым-Спечияльным на лошадах. Но понимал старик, что надо, и не роптал.

И вот маленький, сухонький этот старичок идет и идет где-нибудь межой, попыхивая самокруткой, наматывает да наматывает намозоленной саженью, а рядом — агроном и сам председатель еле поспевают... Однако всякое случалось в трудное то, тяжелое время...

Однажды пыхтел за ним, в бороздах спотыкался председатель Калмогоров из кержачков. Краснорожый, тучный. Отставал, вконец задыхаясь, платком отирался, снова догонял. И вот, когда остановились передохнуть, вдруг предложил ему, Дмитрию Егоровичу, мешок муки-крупчатки. Взятку. За то, чтобы Дмитрий Егорович не вносил в сводку земельный клин за Воробьевой балкой. Шесть гектаров. Весной это все произошло. В тощей, мокрой лесопосадке. С глаза на глаз.

Смотрел на деревню вдали Дмитрий Егорович, курил задумчиво и вспоминал всю краснорожую родню Калмогорова, окопавшуюся с ним в сельсовете. Наверняка уже есть «решение» этого липового сельсовета: пустить клин под пары... А засеиваться клин будет, а осенью так же споро, ничего не подозревая, колхозники снимут с него урожай, а урожай тот осядет в сусеках самого Калмогорова и всей его глотвой родни... Ловко!

— Ну, Егорыч, — ныл негодяй. — Мешок крупчатки — и по-людски, по-доброму, а, Егорыч?..

— Два!

— Че?!

— Два мешка — и по рукам!

— Вот это по-нашенски, вот это... ятит-твою!.. — Калмогоров схватил руку Дмитрия Егоровича и затрясся с нею. Как со вступлением поздравлял. В шайку свою подлюю.

А Дмитрий Егорович вроде бы смушался. Говорил, чтоб осторожней там, с мешками-то. Когда в кузов класть будут. С Иваном Зиновиевичем. А то люди кругом...

— Егорыч! Понял! Лечу! — И уже в следующий миг Калмогоров пыхтел прямо по пахоте, словно лихорадочно-жадно пересчитывал сапогами ее вывернутые тучные ряды: мое! много! много! — пела, подбрасывала, тащила вперед эту тушу борова неумная радость... Долго смотрел вслед Дмитрий Егорович. До тех пор, покуда Калмогоров, точно обожравшись этой земли, пахоты этой, не стал выкарабкиваться из нее жуком навозным на чистый взгор у деревни. «Ну погоди, подлюга!» скрипнув зубами, Дмитрий Егорович отвернулся и пошел махать саженью дальше.

Через час он стоял в кузове полutorки и говорил окружившим машину колхозникам: бабам, подросткам, детишкам да старикам:

— Тут вот какое дело, товарищи... Ваш дорогой председатель, Федор Лукич, и ваше уважаемое правление... — Дмитрий Егорович широким жестом распахнул на крыльцо сельсовета, где стоял сам Калмогоров и вся его родня. — ...так вот, товарищи, они поручили мне, как представителю района, за ваш героический труд для фронта, для победы и в честь приближающегося дня Первое мая... да и пасха вот

через три дня... — Народ засмеялся. — Одним словом, товарищи, мне поручено раздать вам муки. Пельмешки чтоб там, пироги на праздник! — Народ радостно загалдел. — Вот тут в двух мешках двести с небольшим килограмм. Мы их сейчас и поделим поровну на всех... Марья Семеновна, как у вас?

Седенькая старушка-учительница, раскрасневшаяся и гордая от порученной ей миссии, оторвалась от подсчетов, воскликнула:

— По полтора килограмма выходит на человека, Дмитрий Егорович! — и добавила с отчаянной хитрецей: — Если не считать сельсовета...

— Ну вот и отлично! А сельсовет считать не будем. Чего его считать, если он — дарит? Иван Зинович, открывай борт, весы подавай. Подходите, товарищи! Да хорошенько помните своего дорогого председателя, Федора Лукича! А ты, Федор Лукич, всегда поручай мне такое приятное дело. Вон на посевную скоро приеду — готовь еще мешка три! Все раздам!

Народ хохотал. На крыльце сельсовета трещал, перилы выворачивал красный, как рак, Калмогоров.

Через неделю Калмогоров приехал в город, пришел куда следует и сам решительно «арестовался».

Липовый сельсовет был разогнан. Колхозники выбрали новый. Правильный, свой. Дмитрия Егоровича «за геройство» шарахнули строгачем, но на работе, подумав, оставили.

Бывали в районе и другие случаи...

Еще раньше, месяца за полтора до посевной, в конце марта, проверял Дмитрий Егорович в одном колхозе с местной агрономшей семенную пшеницу. И что-то в поведении этой агрономши и другой женщины — кладовщицы, крутящейся тут же, показалось подозрительным ему. Суется обе, из рук все роняют, кладовщица красная, агрономша наоборот — белая. Что за черт! Между делом послал за председателем — прибежал раздетым, без шапки, Никонов, такой же старик, как и Дмитрий Егорович. Перевешали зерно — нехватка ста с лишним килограмм. Агрономша в слезы, кладовщица за ней.

— Поделили, мерзавки?! — подступился к ним Дмитрий Егорович.

Никонов вдруг взмолился.

— Егорыч! Не виноватые оне. Я взял.

— Ты-ы?!

— Я, — опустил седую голову Никонов.

— Да ты... ты... мать-перемать! Где зерно?!

— Смоллол... Зимой еще... И продал.

Дмитрий Егорович задохнулся на миг, покрутил головой, приходя в себя.

— Петя, не шути... мы ведь с тобой вместе...

— Правда, — тихо, но твердо сказал Никонов.

У Дмитрия Егоровича сузились глаза.

— Та-ак... Значит, ты, гад, подумал, мол, воевали, вместе под смертью ходили — он меня выручит, покроет в случае чего... Так?.. Отвечай!

Никонов молчал.

— А ну собирайся иди, сволочь! — И Дмитрий Егорович, как заразу какую, обошел Никонова, выскочил из склада в пасмурную улочку деревеньки и заметался возле полutorки.

От раскапченного мотора поднял голову Иван Зиновиевич, с удивлением, растерянно смотрел, как Никонов мучительно пронес мимо красные, полные слез, моргающие глаза — точно не хотел, не мог пролить их при нем — и дальше сторбился и шел, сдер-

гивая слезы, сморкаясь. Мокрая жирная улочка постепенно задиралась боком, но Никонов не замечал этого, не осторожнил шаг — шел, как во сне, как-то раздумчиво и обреченно елозил, откидывая назад сапогами, точно медлил до поры, не выбирался на обочину к своей избенке, где на завалинку — теперешней участью его — уже опала старуха-жена, с будто проткнутым — немым, без воздуха — криком... Иван Зиновиевич поспешно спросил, что случилось...

— Заводи машину! Вот чего случилось! — заорал на него Дмитрий Егорович.

Внимательно, долгим взглядом посмотрел на бегающего начальника шофер. Но промолчал. Опустил капот, пошел за рукояткой, крутанул ею в передке полуторки. Мотор тряхнулся, равномерно задрожал.

Тут подходит к Дмитрию Егоровичу какая-то сторбленная старушонка, кланяется в пояс и протягивает небольшой мешочек. Что еще такое! Дмитрий Егорович взял. Зерно. Пшеница. А старуха уже костыляет от него. Баба какая-то, тоже с мешочком. Старик. Еще баба. И все суют ему мешочки, наволочки с зерном, в руки или на землю прямо кладут, к сапогам. Молодуха. Лицо одутлое, землистое. Положила мешочек, «извиняйте» сказала, повела в сторону тоскливые глаза, и сама за ними повелась... Медленно протаскивались эти люди, впечатываясь в память и в то же время смазанно и быстро, и ошарашенный Дмитрий Егорович только рот раскрывал, не успевая ничего спросить, выяснить. А люди клали и клали мешочки... Как жизни свои складывали к его испуганным, пятящимся ногам...

И стыд, и внезапный, несознанный еще и оттого непереносимый вдвойне, задохнулся, заворочался вместе с сердцем, булыжником затолкался в груди. Господи, да что же это!.. Лет семи парнишка протягивает мешочек — из завернутого рукава взрослой телогрейки ручонка как сизая дряблая ветка... Лицо Дмитрия Егоровича перекосило, правый глаз вытарашился, стал вспыхивать стекленеющей жутью, болью...

— Стой! — Дмитрий Егорович схватил парнишку за плечи. Задыхаясь, отворачивая в сторону страшное свое лицо, быстро, лихорадочно спрашивал: — Кто... кто-кто-кто-тебя-послал? Сынок? Кто?

— Мамка.

— А где? откуда зерно?.. Говори, не бойся. Ну! — легонько встряхнул — голова парнишки в кепке как скуластый подсолнух мотнулась.

— Дали... в правлении...

— Когда?!

— Вчерась, — прошептал парнишка.

Стеснилось снова в груди, задавило. «Да ведь голод в деревне. Повальный голод! Как же теперь...»

Понишке, виновато стоял парнишка, не решаясь уйти.

Вдруг Дмитрий Егорович стал совать ему мешочек. Обрато.

— На, на! Не бойся, сынок, бери! Домой скорей. И смолоть, смолоть! Сегодня же! Слышишь? И всем скажи!.. Давай, дуй!

Парнишка вяло побежал, как подбитая птица замахивая рукавом и полой телогрейки. И Дмитрий Егорович, не в силах оторвать от него глаза, давая слезами, странно как-то — неуверенно и отрывисто — подергивал, помахивал ему рукой. Как крестил его, крестил: сынок... я... я... я все для тебя... я... сынок!.. Медленно, словно только б не стоять на месте,

полуторка отъезжала от деревни. Отработав так в неуверенности километра два, остановилась совсем.

Перед мертвым полем в серых снеговых проплешинах, как посланцы голода с пустыми корзинами, сбились в кучу, растерялись тополя. Позади, взятая на небо, отрешенно, тихо бредила деревня...

В голове красно кололо, вспыхивало. Знобясь, Дмитрий Егорович придавленно сидел перед мотающимся «дворником», и работающий вхолостую мотор вытряхивал в истерзанное сознание ждущие чего-то, раскидистые, ни за что не зацепливые мысли...

— Егорыч, может в Киселево? — осторожно подсказал Иван Зиновиевич.

Дмитрий Егорович поднял голову, перевел дух.

— Да, да, Зиновиеч, давай в Киселево. Там поймут. Иванов — человек. Давай, родной, побыстрей, давай...

Иван Зиновиевич с места рванул машину.

Часа через два примчали мешок пшеницы, сбросили его на крыльцо склада, развернулись и уехали.

7.

Даже снаружи этот вокзал не казался таким огромным, каким был внутри. Словно осадив для разбега глубоко назад, он стремительно взбегал по широкой каменной лестнице на второй, открытый этаж и тянулся к высоченным окнам, к свету. Внизу же, придавленными остановленным, наконец, табором — люди. Но табору без движения, без дороги — не жизнь, и вот стоит, топчется на месте, сидит, лежит на длинных деревянных диванах — ослонивший, измученный. Гул голосов серый, разреженный, как пар.

— Митя, не отставай! Держись за меня! — понукала разинувшего рот Митьку Катя. Людской поток, вынесший их из подземного туннеля, растекался по всему вокзалу. Люди облегченно скидывали с плеч, ставили на пол вещи, но сразу как-то растерянно застывали. Точно на обширное, незнакомое болото вышли — и завязли: куда дальше? куда?..

— Митя, держись, я тебе сказала! — Катя с вещами упорно проталкивалась к кассам, которые сразу заприметила, как только вышли из туннеля. «Сперва — билеты, а уж потом — разглядывать все», — рассудительно думала она.

Растянутая вдоль касс толпа не билась, не сражалась, как в Рубцовке, но как-то вежливо и долго-временно давилась. Касс много. А в какую? Да и где тут крайнего-то искать?..

— Катя, Катя, сюды! — возле одной из касс подпрыгивала рука и голова Панкрата Никитича. — Сюды, Катя!

Катя помахала в ответ. Нашли Меланью Федосеевну, и та встретила их удовлетворенными словами:

— Вона! — кивнула она на супруга, потерянно как-то выглядывающего из очереди. — Настрополила — и, почитай, первый в очереди стоит. А то б вышагивал опять... Давай вешнички-то да к нему ступай. А то — выглядывает.

Но напрасно Панкрат Никитич сломя голову бежал по туннелю к кассам — поезд Новосибирск — Харьков ушел два часа назад, а на проходящие — билеты не компостировали. Мест не было. Даже в общие вагоны. Вот тебе, бабка, и Юрьев день!

Привокзальную площадь — обширную, утренне-сизовато-дымную — вдоль и поперек простирачивали

люди. Дальше площадь и прилегающие улочки втягивала в себя другая улица — более широкая, подпиральная дальней частью асфальтового языка розовато-серебристое небо горизонта, но ближе увязывшая себя в тяжелые дома в лепнине, как в торты. С боковых улочек теснились, ярясь и огрызаясь, грузовики и легковые автомобили. Заполосно трелькал, тащил искристую паутинку краснопузоподвешенный трамвай. Огораживаясь пустотой, бежали у обочин лошади с телегами с похмельно-тлеющими мужичками. Как по наждакам, по тротуарам торопливо шаркался густой пешеход. Овисло и слепо, как передчихом, замерли топольки, будто только на время выпущенные из асфальта. И на целые кварталы лениво потягивалось равнодушное стекло магазинов. А в нем — брошенные, испуганно преломляющиеся — двое провинциалов. Мальчишка с баульчиком и женщина с кирзовой сумкой.

Долго ходили вокруг здания оперного театра, величественного и таинственного. Поколебавшись, купили билеты и пошли за детворой и взрослыми внутрь. Сидели на самой верхотуре. Снизу, как из колодца в жаркий полдень, приятно опахивала музыка. А по сцене волоокиими козами в пушистых белых штанах капризно взбрыкивали вверх балерины. Их удерживали, как укрошали, балеруны — все мясистые, как бифштексы, знающие свое дело. Митька балет отверг. Полностью. Катя частично одобрила.

Отоварив в магазине карточки, забрели в парк культуры и отдыха. Долго глазели на чертово колесо, упорно улезающее в небо, на диковинные какие-то железные качалки, которые бултыхались со смеющимися ребятишками по земле в огороженной площадке. Митька прокатился на привычной карусели. Он сидел верхом на обшарпанном верблюде. Потом вышли к летней эстраде, где на скамейках, на самом солнцепеке сидели зрители, а в затененной раковине, прямо на полу, как просторный ситцевый луг, волновались цыганки; их, как и положено, по краям застолбили плисовые цыганы с гитарами.

Вдруг вся эта декорация колыхнулась и закатилась песней. И повела ее, повела, раскачивая, волнуя, дальше, дальше, быстрее, быстрее.

На сцену вымахнул солдат. Прямо из публики. Вся грудь в медалях. Саданул об пол вещмешок, пилотку и пошел бацать сапожками. И волнистые кудри руками назад зализывает. «Да это ж солдат — цыган! Прямо с фронта!» — ахнул народ и в ладоши задубасил. Хор «узнал» своего, взвизгнул, надал. Плисовые тут же окружили солдата — и гитарами, гитарами его подначивают! А тот уже дровосеком рубит сапоги, аж на груди медали хлещут. А плисовые за ним, за ним, да жарче, жарче!.. Одна цыганка не выдержала, сорвалась. Крутанула ситцем и пала к солдату поляной — и выгибается, и назад, и кругами, и волнуется, волнуется, монистами рассыпаясь. А солдат схватился за голову — не сон ли это! — и давай обкол-лачивает поляну, и давай: и дровосеком, и обколачивает, и дровосеком, и обколачивает! И кричит по-своему на весь парк: застолбил! застолбил! моя! на век! не подходи! убью-у! Хор — как стеганули — вскачь, плисовые гитары дущат. Тут цыганята сыпанули на сцену — что началось!..

Часто-часто Митька хлопал в ладошки. Поворачивался к матери: ну же, мама, ну! — и та, словно

разучившись, неумело, как старушка, хлопала, виновато улыбаясь...

Вечером, возвращаясь на вокзал, проходили длинным сквозным сквером. Справа затихала улица, слева залезало на ночь в деревья и кусты закатное солнце. Устало присели на скамейку. В кустах напротив рыскали, шарились чудные какие-то собаки. Они вынюхивали понизу солнце — и задирались акробатами. Их хозяева терпеливо ждали, провиснув поводками.

Мимо по аллее простучала каблучками дамочка, капризная ненужная уже зонтиком и дергая за собой, как собачонку, вяньгающего мальчишку лет четырех, сопливого и в матроске. Митька удивленно проводил их взглядом: странные все ж таки люди в большом городе: с собаками — как с детьми, с детьми — как с собаками... А мам?.. И снова повернулся к диковинным собакам и их диковинным хозяевам.

Были тут какие-то жирные псы, слюнявые и недовольные как старики: два кучерявых, будто опилками набитых, кобелька, во время прихрамывающего бега одинаково-продольно разматывающих мордами как пустыми саквояжами; как трубы длинные и певучие суки; здоровенный — с телка, но хлесткий, как прут, угольно-черный пес с болтающей утюгом мордой; какие-то сплошь заросшие шавки... И все сытые, гладкие, холеные... А, мам?..

А Катя с непонятно откуда нахлынувшей злобой невольно только прикидывала: сколько же сжирают эти паразиты?.. И вспомнились тут ей два прошлогодних несчастных гуся...

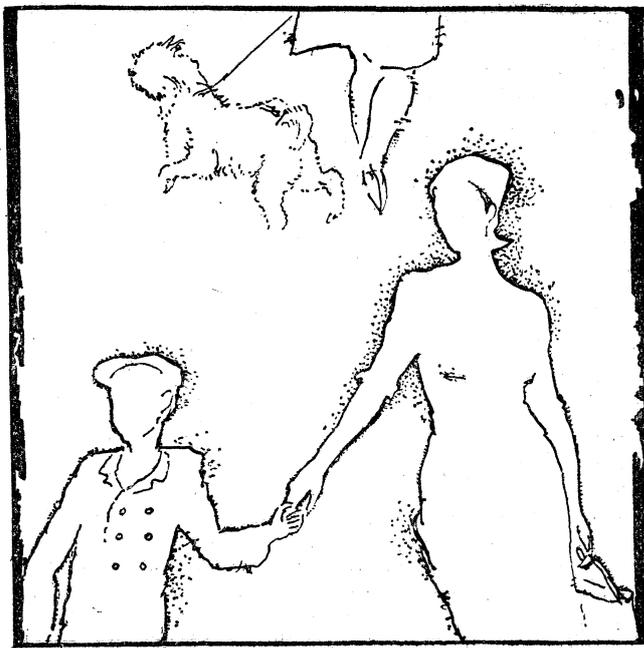
— Пошли отсюда!

— Ну мам, посмо-отрим...

— Пойдем, я тебе сказала! Людям есть нечего, а они... вывели... Крысы!

А вслед неслось: «Джек, ко мне!», «Джерри, Джерри, брось сейчас же, выплюнь — бяка!», «Линда! Золотце мое! М-му-ух, моя радость!»...

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ



НОВЕЛЛЫ О ПРИРОДЕ

Владимир НОСКОВ

Оцепенение

В воскресенье отправился в лес уже за полдень. И вот медленно двигаюсь вдоль широкой просеки, протянувшейся с юга на север по всему Глуховскому болоту. Внимательно вглядываюсь в белеющие промежутки низкорослых чахлах сосенок и в буераки поваенного сухостоя. Авось кого-нибудь замечу!

Так и есть. Словно по мановению волшебной палочки, неожиданно возник передо мной белый столбик. Останавливаюсь, чтобы разглядеть. А он вдруг ожил и поскакал. Спокойно, не спеша. Вот присел. Вытянул головку вверх и завертел длинными ушами. Сосредоточенно смотрит в мою сторону. Знакомство наше длилось минут десять.

Зайца ярко освещало солнце, и было видно, что он уже занежился от тепла, разленился. Даже от меня отвернулся. Неохота ему бежать.

Делаю шаг вперед. Косой не шевелится. Смело иду прямо на него. Но тут заяц не выдержал и скакнул за мелкий чащобник.

Когда дошел до косогора, то у подножия одинокой березки вижу сучок. Странный. Очень похожий на птицу. Рябчик? Не может быть!

Я хорошо виден на открытом месте. Шумел лыжами о снег, а ему хоть бы что. Заснула, что ли, птица? До нее всего тридцать метров. Прячусь за толстые стволы сосен. Прошел шагов десять, вглядываю. Рябчик все в той же застывшей позе. Тогда решил его разбудить. Достаю манок и вывожу переливы рябчиковой самочки. И тут серенький петушок враз встрепенулся, расправил крылья и ответил любовной трелью. Я свищу. Рябчик бойко побежал по снегу, крылья опустил вниз, растопорщился перышками. Вновь пропел. Я дую в манок, но, видимо, сфальшивил, потому что петушок резко вспорхнул и спланировал в низину болота.

Решил и я немного отдохнуть. Смел рукавом снег с лежавшей осины, присел лицом к солнцу, и вмиг сладкая нега охватила меня. Я испытывал блаженство от солнечного тепла, его нежного прикосновения к лицу, от аромата влажного снега и оттаявшей сосновой смолы. А когда очнулся от приятного оцепенения, то мне стало ясно, почему заяц и рябчик так близко подпустили меня. Потеряли былую осторожность.

Они тоже оцепенели на некоторое время от нежного дыхания весны — тепла яркого солнышка.

Клест

В ложбинках невысоких гор, покрытых сосновыми борами, теряются вытянутыми островками угрюмые ельники и пихтачи. Трудно пробиться через их густые кроны солнечным лучам. Оттого еще сохранился под деревьями ноздреватый, отдающий бодрящей свежестью снег. Меня всегда привлекают такие, по-настоящему таежные уголки леса. Но не каждый заглянет сюда. Темно и неуютно.

И все же, оказалось, не я один любитель этих мест. На вершину стройной ели, которую облепили коричневатые шишки-ракетки, уселась небольшая, с воробья, птица. Точно огонек. Вся оранжево-красная, а клювик крестом. Конечно же, это клест. Наш лесной попугайчик. Очень похож.

Обычно птица бойко цепляется коготками за шишку. Клювом, словно клином, раздвигает чешуйки и достает из-под них лакомые семена. А этот клест пел. С вершины лились приятные, нежные звуки, и только иногда проскальзывали среди них зимние нотки. Что-то подобное «кле-кле-кле».

Клест пел недолго. Вот сорвался с ветки, стрелой промчался мимо меня, повернул обратно и сел к подножию той же ели, на которой только что сидел, подхватил коготками одну из валявшихся на снегу шишек и уже с нею взлетел на мохнатую ветку. Быстро «обработал» шишку клювиком, бросил ее и вернулся за другой.

Улетел клест неожиданно. Встреча наша длилась считанные минуты.

Почему птица пренебрегла шишками, висевшими на вершине? Я подошел к елке и поднял влажную, «взъерошенную» после работы клеста шишку. Оборвал с нею чешуйки и увидел еще много прозрачных, с крохотными ядрышками на концах перышек-семян.

Значит висевшие на ели шишки были пустыми. Теплое солнце подсушило их, нагрело, чешуйки раскрылись, и освободившиеся семена, подхваченные ветерком, рассыпались на снежный подол.

Здравствуйте, лебеди!

Покрытый ночным сумраком небосвод с востока только начинал светлеть, а на западе в черной вышине басовито, но звонко проголосили

птицы. Скоро их крик умолк, и только где-то над березняком одиноко «тянул» вальдшнеп.

Рассвело. Наполненные радостью встречи с теплом, засутились пернатые. Трещали неугомонные дрозды, выводили трели зяблики, в еловой тени часто тенькали синицы. Солнце медленно всплывало над вершинами дальних листовенниц.

Мне нужно было спешить на станцию. Из-под ног пестрыми брызгами взлетели кулики-бекасы. Они отлетали, поодаль присаживались на березовые пни и жалобно кричали.

Скоро показалась голубая гладь лесного озера. Сквозь стену желтого сухого камыша заметил на нем четыре белые точки, словно остатки нестывших снежных бугорков. Камыш ломался под ногами, громко выстреливая. Я подошел к берегу и остановился пораженный. Да это же лебеди!

Инстинктивно присел на корточки и медленно отполз от озера. Уже в скрадке, присев на удобную скамью, осторожно выглянул наружу. Лебеди, грациозно вытянув гибкие шеи, плыли в мою сторону. Они были уже близко, когда заметили мою суету с фотоаппаратами. Немного встревожились, сбились в кучу и повернули обратно. Тогда я встал и на виду у них стал уходить. Белоснежные птицы остановились, развернулись и снова поплыли к скрадку. Я удалялся от них, а любопытные лебеди гордо плыли за мной. Я снова пошел им навстречу. Птицы растерянно остановились и повернули обратно. Вскоре их высокие шеи и головы исчезли в толще белого пера. Лебеди мирно отдыхали. Ведь они прилетели издалека и, конечно, устали. А когда наберутся сил, взмахнут мощными крыльями, взлетят над лесным озером, дадут прощальный клич и продолжат свой путь на север к Таймыру.

Только теперь я понял, чей торжественный крик услышал ранним утром.

Водопои вальдшнепов

Когда макушки низеньких кудреватых сосенок озарились багрянцем уходящего светила и с болота потянуло багульниковой свежестью, когда белесоватый туман тонкой пеленой завис над округлой чашей озера и дрозды уже отбивали колыбельные рулады, со стороны Глуховской кручи — черничной горы показался силуэт порхающей птицы.

Все ближе и ближе, все громче и громче, и вот звонкое «цирк-цирк», «цирк-цирк» быстро пронеслось над самой головой. А вслед росло и нарастало глуховатое, но трепетное «хор-хор», «хор-хор», и другая птица золотистым призраком пролетела надо мной.

Великолепные вальдшнепы открывали свой вечерний концерт. Концерт в полете. Их песни, полные горячей страсти, заставляли волноваться.

Казалось, птицы летели вереницей, друг за дружкой, и не было конца их песням. Редко случается такая обильная, яркая тяга вальдшнепов. И мне наконец-то повезло!

Солнце совсем пропало за почерневшим горизонтом, когда вдруг одна из птиц снизилась и скрылась за осинками.

Боясь наступить на трескучий валежник, подхожу к небольшой полянке, где должна была приземлиться птица.

Вальдшнепа все-таки вспугнул. Он резко взлетел вверх. По лужице разошлись частые круги-волны. И только я замер, вальдшнеп подбежал к лужице. Не оглядываясь, опустил в нее длинный носик и начал отпивать прохладную водицу. Видимо, от долгого пения и полета пересохло у него горло. Тут же на полянку присела еще одна птица. Она суетливо пробежала по осоковой заросли и пристроилась с другого конца лужицы. Наконец они утолили жажду и дружно взлетели над поляной.

Уже совсем стемнело, а с запада все неслошь и неслошь манящее, завораживающее душу «хор-хор», «цирк-цирк».

Вальдшнепная тяга продолжалась. Но птиц уже не видно. А в моих глазах все еще стоит картина вальдшнепов на водопое.

Тени на озере

Ночь охватила и лес, и озеро. Почернели осины, смешались и растворились в темноте стволы высоких елей и осин, но клюквенная моховина, что полуостровом вдалась в Серебрянское озеро, контурами берегов отражалась в поблекшей воде.

Было тихо, временами вдруг прокричат ширококрылые совы — бородатые неясны, взбудоражат тишину всплески взлетающих крикв и чирков. Среди ночных звуков по-особенному слышались глуховатые шлепки, как будто кто-то легонько ударял по воде. И небольшие волны веером рассыпались по мерцающей глади озера. А на воде зашевелились, закачались две тени. Казалось, они плыли по волнам. Скоро шлепки затихли. Тени неподвижно замерли у обрывистого берега.

Взошло солнце и на воду опустилась пелена густого тумана, плотно окутав озеро. Повевший с запада ветерок постепенно набирал силу. Он рвал на клочья молочный занавес тумана и гнал их на лес, где те таяли и исчезали.

У берега, на моховине, как изваяние, оконтурились высокие серые птицы. Журавли! Вот чьи тени я видел ночью.

Неожиданно над лесом раздалось призывное «кур-лы, кур-лы-ы».

На моховину плавно снижался третий журавль. Птицы встревожились, подбежали к гостю. Радостно защелкали крепкими клювами,

затрясли крыльями, закивали головками, словно приветствовали своего сородича. Высоко подпрыгивали вверх, показывая свою удаль, силу и красоту. Затанцевал и третий журавль. Но вот треснули в ивняке сучья, и на клюквенную моховину вышел огромный бородастый лось. Птицы замолчали, удивленно уставились на незваного пришельца и суетливо взлетели. Два журавля рядом, а третий одиноко, в отдалении. Он тоскливо курлыкал.

Уже весна утонула в зелени, цветах и аромате жаркого лета. Клюквенная моховина у Серебрянского озера покрылась изумрудными стрелками тростника и камыша. Ранними свежими зорями на моховину по-прежнему прилетали два журавля. Они кормились на ней, гуляли поодиночке. Гнездо же построили вблизи, в багульниковом болоте.

«Что же случилось с третьим журавлем?» — думал я каждый раз, посещая это лесное озеро. И как-то летним днем с соседнего болота я услышал журавлиный клич. В центре того болота пряталось округлое блюдце совсем маленького озера. Осторожно подошел к нему и увидел двух птиц. Они гордо вышагивали по травяному берегу. Одна из них мне показалась знакомой. Может быть, это тот, третий журавль, что одиноко летал на большое Серебрянское озеро?

Хотя токовал на отшибе

Черным ядром, вылетевшим из темноты сосняка, он бухнулся на землю, потревожив прошлогоднюю осоку, всколыхнув воздух так, что полог замаскированной палатки встряхнулся, ширкнув тканью о сучки деревьев. Тут же тетерев пробежал к своей кочке, запрыгнул на нее, подлетел, всхлопнул крыльями и неистово-возбужденно прокричал: «Чуфыш-ш!» И вслед, чередой, понеслось над утренним болотом: «Чуфыш-ш! Чуфыш! Чуфыш!» Это рядом на поляне. Соседние тетерева. Они тсковали дружно, поочередно чуфыкали, а затем уже доносились спокойные булькающие, перекатисто-глуховатые звуки. Продолжение любовной песни.

Прилетели тетерки. Кавалеры-косачи при виде подруг еще более взбодрились, часто перелетали по поляне, гоняясь друг за другом и стараясь понравиться курочкам; расправляли перья, надували красные дуги бровей, «подметали» землю косицами широких хвостов. У кого косицы длиннее, тот и лучший.

И «мой» тетерев, токовавший на отшибе, тоже не раз улетал с кочки на поляну, но чуть погода возвращался назад. Один...

Как только ни показывал он свою красоту. И чистым громким голосом, и горделивой осанкой. Да и косицы хвоста у него были не хуже, чем у других. Длинные. И белое подхвостье рос-

кошным цветком богато украшало его веерхвост. Нарядный певец! Сильный! Схватился с другим косачем, перья в стороны летят... Не отступил. Напористо и бесстрашно прогнал чужака со своего токового участка. Но тетерки его не примечали.

Наконец солнце своей теплотой разморило птиц. Уставшие от страстей, они замолчали, разбредлись с тока. Кто-то с ласковой кокеткой-тетеркой.

«Мой» тетерев остался один. Тоже некоторое время молчаливо стоял на кочке, прислушивался к шорохам, вытянув шею. Вдруг тетерка прибежит на свидание.

Но ожидания его всё не оправдывались.

Вдруг тетерев, будто очнувшись, взметнулся вверх и ликующе: «Чуфыш-ш!» — возвестил всей болотной стороне, что он счастлив. Счастлив от весны, счастлив от солнца, счастлив жизнью! Он кружился по току, как в танце; разлетались от него к кустам сухие листочки, лопались, хрустели под ногами льдинки застывших лужиц. Тетерев верил в свои силы, в свою красоту, хотя и был не признан, хотя и токовал на отшибе.

Прошелестели над палаткой чьи-то крылья, кто-то мягко опустился в крону дальней сосны — ветки резко вздрогнули. Смотрю в бинокль. Скромная, рыжеватопестрая тетерочка черными бусинками глаз глядела в мою сторону. Неожиданно слетела с сучка и присела к «моему» одинокому тетереву.

Вынужденная посадка

Его я заметил сразу же. На фоне потускневшей от обильных дождей луговины, среди поникшей, но еще зеленоватой осоки он выделялся контрастно, коричневатобурым пятном. Внешне похож на бекаса. Кулика, который в нашей местности обычен. Но значительно крупнее. Да и брюшко у него все в поперечных полосках-пестринках, а у бекаса — белое. Мне не приходилось встречать такого кулика вблизи Свердловска летом, в выводковый период.

Когда я осторожно подошел ближе, птица лениво поднялась на крыло, перелетела примерно шагов на тридцать и вновь села среди невысоких осоковых кочек. Отчетливо было видно, что хвост у кулика, особенно по краям, высвечивал белизной перьев. И тут мои сомнения развеялись. Это дупель. Самый крупный представитель рода бекасовых.

День выдался дождливым. Сыпало, казалось, из всего небосвода. Нудно и однообразно. Намокли и отяжелели от влаги желтые пряди берез. Деревца загрустили по уходящему теплу. Было тихо. Я чувствовал себя неудобно. Тоже промок. Устал от долгой ходьбы. И на тебе! Повезло! Передо мной молчаливо, нахохлившись шариком,

сидит на земле редкая для меня птица. Откуда же ее занесло? Может быть, с далекой тундры? Усталость и неуют как рукой сняло. А тут и дождик кончился. Ожил и ветерок. Стряхнул с берез крупную капель. Даже солнышко проникло сквозь пелену облаков белым расплывчатым пятном. И вдруг над луговиной показался караван белых чаек. Они летели степенно, без суеты. На юго-запад. В теплые края. Когда большие птицы уже скрывались в белесоватом горизонте, я услышал крик. Протяжный и грустный. Крик прощания. И тут же мой дупель вздрогнул всем телом. Встряхнулся. Стал меньше размерами. И бойко взлетел над осоковой луговиной. Вслед за чайками.

Дупеля — перелетные птицы. Обычно кочуют они стайкой. В пять, шесть птиц. Этот же кулик, видимо, оказался слабее своих родственников. Вымокли за долгую ночь его крылья. Стали тяжелыми, неуправляемыми. Вот и совершил он, как неисправный самолет, вынужденную посадку на луговину. А отдохнув и обсохнув немного, полетел вдогонку своим сородичам в теплые края.

В ночном лесу я встретил мышку

Железная плита накалилась до родонитового цвета. Бросил в кипящую воду сухого смородинового листа вместе со стеблем мяты, и в мгновение ока комнату наполнил аромат ушедшего лета.

Эх! И хорош получился чайк! А в домике стало невыносимо жарко и душно, что и выгнало меня на свежий воздух.

Уже полночь. Небосвод высвечивал ярко-белой крупной звезд. Луна огромной матовой лампой зависла почти в зените. Вокруг было светло. Это меня и подстегнуло на прогулку по ночному лесу. А он совсем рядом, рукой подать.

На лыжах покати́л вдоль заснеженных садовых участков, мимо березовой ро́щи и вышел на покосик. Деревья все преобразились, казались сказочными. Посреди полянки — одинокая сосенка. Дальше у леса такого же ростика елочка. Стройная, как барышня. Рядом другая — повыше. Склонилась к земле, как будто что-то выглядывает в снегу. Ели и сосны одинаково черные, а березки стали как бы прозрачными, растворились в ночи. И лишь уцепившийся за ветки снежок выдает их неясные призрачные контуры. Мне вдруг стало одиноко в этом безмолвном, уснувшем лесу.

Пустынно, ни одной живой души не слышно. Прислонился плечом к шершавому стволу высокой ели и замер. И тут кто-то промелькнул рядом с лыжами. Смотрю внимательно. Быть мо-

жет, показалось? Ан нет! Снова на мгновение шмыгнул из невидимой норки маленький зверек. Совсем крошка. И враз исчез под снежным покровом. Забавная лесная мышка оказалась такой же любопытной, как и я.

Через несколько секунд она вновь вынырнула из-под снега. Встала на задние лапки и вытянулась по-сусличьей столбиком. Наверно, от меня пахло дымом, и это встревожило мышку. Ведь пожар для лесных обитателей хуже всего. Поэтому она потеряла осторожность. Но стоило мне шевельнуться, как грызун тут же исчез под защитным одеялом.

Я еще долго стоял под елью, ожидая появления мышки, но она больше так и не показалась. Видимо, распознала во мне опасность.

Чувство одиночества от этой встречи как рукой сняло. Утро проспал. День выдался серооблачным, неприветливым. Я вновь покати́л в ближний лес. Сосны и березы уже утратили свою ночную сказочность, приобрели обычные для них очертания.

По своей лыжне добрал до высокой ели и... Недалеко от шершавого ствола увидел совсем свежий отпечаток крыльев и лап совы.

Именно у той норки, откуда выбегала маленькая мышка. Чрезмерное любопытство подвело ее, оказалась она в когтях совы. И первый раз в жизни почувствовал я жалость к этому беззащитному, хотя и вредному зверьку, внесшему в мое ночное одиночество каплю радости.



МИНУТЫ

И МГНОВЕНИЯ

**Бесик
ХАРАНАУЛИ**

Ты только будь.
Предоставь остальное жизни.
И без тебя
дверь твоя будет скрипеть.
Если кого-нибудь ждешь,
тысячу раз ты услышишь
шум долгожданных шагов.
Если добьет одиночество,
выйди из дому —
тысячу раз ты услышишь,
как окликают тебя.
Если тоскуешь по женщине,
жди — она ищет тебя.
Ты только будь.
Предоставь остальное жизни.

Чему ты рада, роза декабря?
Ты что, не видишь этот голый сад,
не видишь эти черные деревья?
Уж коли счастье выпало тебе
родиться здесь,
и ты не захотела
иной земли,
но захотела эту —
чего же ты весны не дождалась?

Когда ты совсем одинок,
сидишь один за столом
и жуешь кусок хлеба,
почему тебе кажется,
будто кто-то ушел от тебя,
что когда-то вы были вдвоем...

**Дато
МАГРАДЗЕ**

СОЛНЕЧНАЯ НОЧЬ

Неодолимо сирень цвела.
Ночь задыхалась в хмельном угаре.
В небе гудели колокола.
Возле Метехи рыдала Мтквари.

Кто мне посмел бы теперь помочь —
сердце томилось в любовной неге,
тело твое охраняла ночь
с лунным серпом в отгоревшем небе.

В солнечной тьме я шагал слепой,
сладко зажав дорогую рану,
через сиреневый долгий зной
к неиссякающему духану.

Ночь умерла, и в желанный срок
разом спеклись в животворном жаре
жаждущий рот и поющий рог.
Возле Метехи рыдала Мтквари.

**Багатер
АРАБУЛИ**

НА ДОРОГАХ МОНГОЛИИ

Уснувшего на берегу реки
потомка разорителя миров,
как мехом, облепило мошкаркой.
Он весь покрыт большой
верблюжьей тенью.

Но он охотник,
но кругом добыча,
но просыпаясь на короткий миг
и выглянув как будто из пещеры,
из гущи тени, сна и мошкары,
глядит в меня глазами Тамерлана.

...Вот здесь,
среди немерянных степей,
где, залитые кровью и слезами,
спокойно спят
прошедшие века,
о Родина,
я плачу о тебе...
Был шум
и острый сабельный огонь,
и гром чужих коней,
сам бог не мог понять,
какая тьма летела на тебя,
и пламенем объятая и гулом,
ты шла сквозь битву
и спаслась,

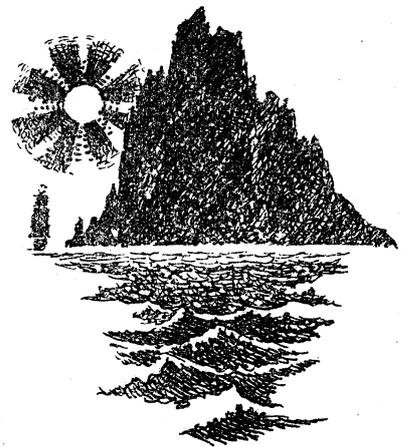
о чудо,
о чудо из чудес!..
О, ничего не умерло во мне.
Я насмерть ранен ранами твоими.
И тот далекий ветер до сих пор
несется и зовет меня на битву,
на мне сломали саблю и копье,
пронзили сердце стрелами и мукой,
о Родина,
что стало бы с тобою,
когда бы я тогда не подоспел...

Сегодня разомлешего от зноя
потомка разорителя миров,
как мехом, облепило мошкаркой.

**Омар
ТУРМАНАУЛИ**

А у нас-то и нет ничего...
Караванчики-дни открывают оазисы
наших сердец —
насыщается весь караван
нашей радостью или печалью.
А у нас-то и нет ничего.
Ничего — ни врага и ни брата.
Все у них — у кочующих дней.
Караваны приходят,
поселяются в наших сердцах,
караванчики нас узнают.
А когда засыхает оазис,
мы не знаем, куда он снова
направляет свои караваны —
солнца, родину, звезды, слова...

*Перевод с грузинского
М. Никулиной*



СИБИРЬ:



ДИАГНОЗ ЯСЕН, ПОРА РЕШАТЬ

Жители Новосибирска и еще нескольких городов Сибири в последнее время регулярно знакомятся с сообщениями в печати и по радио об экологической обстановке в той или иной местности: в какие дни наблюдаются превышения в воде и воздухе предельно допустимых концентраций (ПДК) различных загрязняющих веществ. Эту работу ведет Западно-Сибирский центр наблюдений за загрязнением природной среды Госкомгидромета СССР.

Чем же мы в Сибири дышим, что пьем и что едим?

На эти вопросы отвечает начальник центра Валентин Васильевич СЕЛЕГЕЙ.

— В чем заключаются особенности работы центра как организации регионального характера?

— Это своего рода экологическая служба. В наших руках сосредотачиваются 90—95 процентов данных по загрязнению поверхностных вод региона, 95 — атмосферного воздуха городов, а также почв. Это хорошая информационная база для регулирования хозяйственной деятельности, которое будет осуществлять новый Госкомитет по охране природы. Экологическая информация является показателем эффективности природоохранной работы промышленных предприятий и одновременно показателем эффективности деятельности самой Госкомприроды как контролирующей организации. Поэтому при создании комитета остро стоял вопрос — куда должен относиться наш центр. К новому комитету или к Госкомгидромету?

30 декабря 1988 года было принято компромиссное решение — присоединить туда, где бюро погоды. Фактически это означает юридическую ликвидацию экологического подразделения. Мы боремся с этим решением, недавно написали письмо в «Правду».

В принципе, мы готовы перейти и в Госкомприроду, но дело в том, что анализ данных у нас опирается на 150 станций Госкомгидромета. Пробы почв нам присылают 47 станций, пробы воды — 138, снежный покров на химанализ — более 30 постов, данные на радиоактивность — около 120 станций. Все 150 ведут наблюдения за залповыми аварийными выбросами. И если наши центры по городам Сибири оторвать от станций, то мы останемся с одними простыми лабораториями.

— В чем же видите выход вы?

— В том, что экологическая служба и служба по охране природы должны существовать отдельно друг от друга. Во всяком случае, речь надо вести о независимой службе лабораторного контроля загрязнений природной среды. Фактически она создана — наши центры по Сибири. И мы ни в чем не являемся заинтересованной стороной. Сам Госкомгидромет создавал эту службу в течение 20 лет.

— Ученые СО АН сегодня в числе тех, кто вырабатывает экологическую стратегию. Как вы относитесь к идее

создания экологических паспортов предприятий, выдвинутой академиком В. А. Коптюгом?

— Сама по себе идея великолепна. Паспортизация данных о выбросах загрязняющих веществ важна, но, по сути, это как медицинский термометр — измеряет температуру, но не указывает метода лечения. Кроме того должен сказать, что у нас уже 9 лет ведутся паспорта на 176 предприятий Новосибирска по выбросам в атмосферу. В них указываются источники выбросов и их характеристики, существующие технологии. Заполняются такие паспорта по предприятиям Бийска, Искитима, Барнаула, Ленинск-Кузнецка, Новокузнецка, Томска. На основе таких данных мы проводим расчет рассеивания — насколько нужно уменьшить выбросы, чтобы снизить концентрации до предельно допустимых уровней. Есть целые тома данных. Но из 176 предприятий Новосибирска более ста не могут улучшить положение дел, потому что нужно переходить на новые технологии, а это очень нелегко, как известно.

В Томске решили отказаться от этих ведомственных томов и перейти на экологические паспорта. На наш взгляд, их противопоставлять нельзя. Они взаимодополняют друг друга. Наша инспекция контролирует атмосферный воздух, минводхозовская — воду. По почвам нет инспекции. Экологический же паспорт — это комплексный сбор информации по трем параметрам среды. В этом его достоинство. Но он лишен юридической, правовой основы. А при несоответствии выбросов ведомственному паспорту инспекция может наказать предприятие, это законом предусмотрено.

Может быть, многим неизвестно, что существует еще технологическая карта Госстроя, которую мы используем при экспертизе проектов. Вновь строящиеся, расширяющиеся и реконструируемые предприятия обязаны указывать в ней степень новизны технологий в сравнении с лучшими общесоюзными и зарубежными образцами. Но, к сожалению, этот тип паспорта на предприятиях не очень-то составляют.

Новый Госкомитет по охране природы должен требовать составления и этих карт. Тогда очевиднее будет картина внедрения новых технологий. Законы об охране воздуха и воды созданы отличные, но государство не обеспечило их выполнение техническими средствами, строительной базой. На пятилетку выделено 11 млрд. рублей на охрану природы плюс 15—16 млрд. за счет предприятий. Но даже общая сумма будет меньше одного процента валового национального продукта. В то же время в Госплане есть расчеты, что только для стабилизации процесса необходимо расходовать 3—4 процента, а для решения проблемы — около 8—10 процентов.

— Читая публикации в «Вечернем Новосибирске» об экологической обстановке в городе, невозможно не думать о том, сколько и чего падает на наши головы за целый год, два, пять лет...

— Цифра такая: стационарные источники, то есть без учета автотранспорта, выбрасывают в год 227 тыс. тонн

загрязняющих атмосферу веществ. Чтобы достичь санитарной нормы по городу, необходимо снизить их до 109 тыс. тонн. Около 53 процентов выбросов дает «Новосибирск-энерго» с его ТЭЦ и котельными. А ведь еще не пущены ТЭЦ-6 и ТЭЦ-7, которые очень сильно поубавят наши надежды на какое-то снижение к 1995 году — сроку достижения санитарных норм, установленному правительственными документами.

Радикальный путь только один — вывод предприятий за пределы жилых зон, за город. По этому пути пошел г. Кемерово. Уж слишком велика там концентрация предприятий химической промышленности. С закрытием цехов объединения «Азот», завода анилиновых красителей, коксовых батарей «Коксохима» положение там улучшилось. Если до этого регистрировались превышения в 18—20—30 раз, то сейчас — в 5—7. Но проблема пока что не решена.

В Кемерово в прошедшие годы регистрировалось до 130—140 дней в году с неблагоприятной обстановкой, в Новосибирске — 18. Наш город очень выручает географическое положение — ведь Кемерово расположен в котловине, а также разбросанность предприятий по району. И еще очень помогает Новосибирское водохранилище, активно участвующее в циркуляции воздушных потоков, в рассеивании. Хотя природу это не спасает.

Есть такой параметр — индекс загрязнения атмосферы. Он считается по особой формуле на основании данных по загрязнению среды в том или ином городе. По Волгограду он составляет 13 единиц, Новосибирску — 19, Барнаулу — 39, по Новокузнецку — 90, Фрунзе — 135. Волгоград выигрывает тоже благодаря географическому положению — город вытянут вдоль реки, хорошо проветривается.

— Я видела у вас таблицу с годовыми графиками выбросов различных веществ. Но непонятно, в том числе и мне, они мало что говорят без комментария. Расскажите об экологической обстановке в городе, в регионе за прошедший год.

— В атмосферном воздухе мы определяем загрязнения по 18 ингрдиентам. В Новосибирске таких веществ выбрасывается около 200, но санитарные нормы по городу превышаются только по 6. Есть еще локальные выбросы возле предприятий — примерно по 40 веществам. Наши наблюдения показывают, что выбросы двуокиси азота, бензопирена, сажи повторяют схему отопительного сезона. Зимой больше, летом меньше.

Пыль свидетельствует о низкой гигиене города — улицы плохо убираются и моются. Двуокись азота (среднегодовое превышение в 1,5—2 раза) и двуокись серы преобладают в атмосфере в кислоты и выпадают на город кислотными дождями.

Бензопирен, достигающий в среднем 4 ПДК, дают котельные и ТЭЦ, потому что летом даже при наличии большого автомобильного потока он все-таки в пределах нормы. Технологических выбросов от предприятий нет, за исключением электродного завода в Линево. Правда, там бензопирен рассредотачивается по полям на 3—5 км вокруг, переходит в почвы, затем в продукты питания — пшеницу, капусту. Но сколько чего в почвах — этого никто не определяет. Пока что Агропром еще не знает или не задумывается над тем, что с предприятий можно брать деньги, компенсацию за загрязнения. У нас все государственное, и поэтому счетов друг к другу никто не предъявляет. А пора бы.

Выбросы формальдегида — около 22 тонн в год. Вроде немного, но мы консультировались у химиков и оказалось, что он в атмосфере смешивается с окисью углерода и превращается в очень опасную для здоровья смесь. Во многих городах Сибири такая обстановка. Автомобильные выбросы, видимо, тоже тут участвуют. Нам бы очень хотелось получить от ученых, от химиков исследование атмосферного процесса превращения этих углеводородов.

Превышение санитарных норм свинца в воздухе — в среднем в 2,5 раза — нам обеспечивают заводы цветной металлургии и электрорадиотехнической промышленности. Но уровни загрязнений свинцом в основном определяются

автотранспортом. Есть промышленные выбросы хрома, кадмия, никеля — 1,3—1,4 ПДК и даже мышьяка. В общем, 13 тяжелых металлов определяем. Их опасность в том, что они никуда не исчезают из воздуха, переходят в почву и потом — в продукты питания.

— Вы не раз сказали, что из воздуха выбросы уходят в воды и почвы. Какая у нас в городе вода — и та, что в краях, и та, что в реках?

— Благодаря Новосибирскому водохранилищу (если сравнивать с другими городами в полтора миллиона человек типа Свердловска, Днепропетровска, Куйбышева) — у нас очень хорошее положение. В водохранилище идет мощный процесс самоочищения, и мы в нижнем бьефе пьем относительно чистую воду. В водопроводы поступает хорошая вода. Единственная опасность — природное и промышленного происхождения содержание меди. В городе оно в пределах ПДК, но чуть ниже Новосибирска — уже 5 ПДК.

В воде мы определяем содержание 12 тяжелых металлов, нефтепродуктов, фенолов, нитратного и нитритного азота, 5 пестицидов, суммарный показатель моющих химических средств. Данные по городам Сибири берутся в одни и те же сроки по одним и тем же методикам. Но картина, например, по нефтепродуктам, очень разнообразная. Санитарные нормы в водохранилище превышаются в 2—3 раза, у Камня-на-Оби — в 9—11 раз, ниже Барнаула и ниже Новосибирска — в 7 раз. В реке Томь вырастают до 12—13 превышений, а за Колпашево — до 18—25 раз. От Салехарда в океан течет почти нефтяная река.

Содержание фенолов тоже повышено. Но по ним есть и природный фон. В водохранилище обнаруживаются превышения санитарных норм в 16—18 раз, в реке Томь — в 12—14. Это, пожалуй, самая загрязненная на сегодня река Сибири.

Из сточных вод и, возможно, за счет смыва удобрений поступают в бассейн азотные соединения.

В Томске каждый год в период минимальных уровней рек город попадает в кризисную ситуацию и даже при отсутствии аварийных выбросов переходит на потребление подземных вод. В это время в поверхностных водах Томска собирается масса таких сложных углеводородов, что мы их и определить не смогли бы. Во многом обстановка зависит от выбросов г. Кемерово.

В Новосибирске есть очистные сооружения на пропуск 620 тыс. кубометров стоков в сутки, хотя планировали объемы до 1 млн. 240 тыс. кубометров. Стоков же поступает ежедневно 750—800 тыс. кубометров. Сооружения не справляются, значит, 150—180 тыс. кубометров стекают каждый день в водоемы напрямую, но, слава богу, ниже города. А управление коммунального хозяйства берет, между прочим, с промышленных предприятий в целом 7 млн. рублей и не может уже третий год достроить что заложено. Сбросы идут и в малые реки города — Тулу, Каменку, Ельцовку, которые уже превратились в сточные канавы. В них обнаружены превышения санитарных норм в десятки раз. Ведь еще идет и смыв того, что было сброшено в воздух.

Через очистные сооружения проходят воды в основном с органическими примесями. То, что задерживается, — это биологически активный ил, который мог бы быть отличным удобрением. Но в нем — тяжелые металлы из стоков гальванических производств. Этот ил лежит сначала по берегам, его даже не вывозят, и постепенно он смывается в воду.

По берегам рек построено немало птице- и свинокмплексов. Когда их ставили, не продумали, как и куда будут утилизироваться стоки. Директор Кудряшовского свинокмплекса однажды на совещании сказал, что предприятие достаточно богато, чтобы провести трубопроводы на 15—20 км — дайте только поля утилизации, все стоки отведем, пусть перерабатываются.

— И что же, его предложение нашло отклик?

— Нет, так и тонут в собственном производстве, как, впрочем, и другие комплексы. Вообще, очистные сооружения — проблема для городов Сибири. Очень нуждаются

в таких сооружениях Бийск, Томск, Камень-на-Оби. В Барнауле, правда, недавно построили.

— Что показывают анализы проб почвы? Вы уже говорили о тяжелых металлах. А помимо этого?

— В Новосибирской области в 1988 году использовалось 52 ядохимиката. Мы определяем 6, но они составляют около 70 процентов от общего числа загрязнений. На 17 процентах площадей, где применялись ядохимикаты, обнаружены превышения санитарных норм, но меньше, чем в поверхностных водах.

До сих пор находим концентрации ДДТ. Как известно, Минздрав разрешил применение 10-процентного раствора в зонах отдыха для подавления энцефалитного клеща. Как-то сделали замер у забора дачи облисполкома — 24 ПДК. В Заельцовском парке отдыха обнаружили превышение в 8—12 раз. А однажды был случай, когда замеры показали 45 ПДК.

Или такой пример. Лет шесть — семь назад в одном из совхозов Искитимского района было забракковано 20 тонн моркови с содержанием ДДТ. Но совхоз не уничтожил ее, а скормил скоту. Это значит, что люди все равно получили ДДТ. Не в виде моркови, так в виде молока. Нужен строгий контроль пищевых продуктов со стороны санэпидемстанций и Агропрома.

— Может, и на это общественность поднимется? Скажем, союз потребителей... А вы, кстати, как относитесь к росту общественной активности, экологическим митингам?

— Хорошо. Активно — значит неравнодушно. Но, по моему, многие зря расходуют свои силы на шум и выкрики. Посмотрели бы повнимательнее на свои предприятия. Там столько работы для общественных инспекторов. У нас есть наблюдения, что многие цехи по ночам сбрасывают накопившиеся за день стоки.

Проделили мы как-то один эксперимент. В этом году обязательно повторим его. Поставили теплоход с оборудованием на реке ниже города и в четверг, пятницу, субботу через каждые три часа брали пробы, смотрели концентрации разных веществ. Днем и до 10 часов вечера картина была более или менее нормальная. Потом концентрации начали расти и около двух часов ночи подскочили до превышений в 40—60—70 раз! И каждую ночь такие пики.

Или взять новые технологии — замкнутые, безотходные. В первую очередь именно общественность должна требовать их внедрения как на заводе, так и в цехе, на участке.

— У наших специалистов сосредоточена богатейшая информация. Еще недавно она была чисто служебной — ДСП. Но сегодня город может распорядиться ею в своих интересах. Тем более что недавно сформирован областной комитет по охране природы...

— У Новосибирска нет даже комплексной схемы охраны природы. А вот в Омске, Красноярске, Кемерове и Новокузнецке они есть. Барнаул заложил в свою схему 280 тыс. рублей. У нас этот вопрос поднимался не один раз. Есть постановление обкома партии и облисполкома 1981 года о разработке такой схемы. Ничего не сделано.

Правда, в генплане города есть небольшая схемка, сделанная на основе измерений уровня загрязнений. Ее достоинство в том, что в нее заложен список — примерно 40 предприятий, которые надо бы вынести за пределы города. Но против ведомств так ничего и не удалось сделать.

В комплексную схему можно и нужно внести все — озеленение, малые реки, овраги, очистные сооружения, замкнутые циклы, переносы вредных производств... Сейчас время такое, что можно объединенными усилиями добиться таких результатов, какие раньше и не мыслились.

Беседу вела О. УШАКОВА.
Газета «Наука в Сибири»



Василий
ГАЛЮДКИН

РУЧЕЙ

Какой ручей неповторимый:
И не широкий, и не узкий,
И не короткий, и не длинный,
И не веселый, и не грустный...
В листьях плакучих ив ручей.
Ручей с лицом — водой туманной.
Характер — берег из камней,
А вот судьбою — безымянный.

ВСЯ НОЧЬ ВПЕРЕДИ...

Два десятка балконов. Пожарная лестница.
Окна я не считал! А квартир — тридцать шесть.
И кормушка для птиц, освещенная месяцем,
В этом доме еще что-то близкое есть...
Лучше б я на сверхсрочной остался, изменница,
И служил, из полка не вернувшись сюда!
Хоть уехала ты — но пожарная лестница,
И кормушка для птиц, и в снегу провода,
И балконы, и окна, и месяц над домом...
Так и хочется крикнуть: я здесь — выходи!
Окна я не считал... Два десятка балконов.
Сосчитаю и окна — вся ночь впереди...

* * *

Отчего мне нравятся обрывы
И над почвой скользкой и крутой
В бездну окунувшиеся ивы,
Птицы над извилистой рекой?
Это жизнь моя была такой:
Неудобной, с первых лет неровной,
Как обрыв с ветвями над рекой,
Гордой, горькой,
Грустной, русской, кровной!

Алексей ПЕРЕВАЛОВ

ПОЕЗДКА ЗА ГРИБАМИ

На солнышке, на камнях,
меж двумя городами
я сижу у автострады.
Пролетают осы,
проносятся автомашины,
пальцами я крошу
верхушки травы засохшей.
Скоро первые заморозки,
но пока еще можно сидеть
вот так, на солнце,
без всякой спешки.
Потому что дело не в грибах,
не в том, сколько их наберешь,
а в том, чтобы хоть иногда
иметь возможность такую —
посидеть на берегу леса,
как на берегу океана.



Повесть

Сергей ДРУГАЛЬ

Рисунки
Дмитрия Литвинова

Его протащили через караульное помещение, подручные, оторвавшись от телеэкрана, молча уставились на него. Олле поймал странный взгляд знакомого офицера, с которым стоял у дверей в овальном зале. В следующей комнате его швырнули на пол. За столом сидел Джольф-4, советники — шефы провинциальных филиалов синдиката — и кто-то незнакомый в бронзовой униформе лоудмена. А посередине комнаты как главный предмет обстановки стояло жесткое кресло с высокой спинкой и металлическими нашьлепками, опутанное проводами, справа от него пульт со множеством экранов, глазков, кнопок, тумблеров и клавиш.

Джольф-4, играя лучевым пистолетом Олле, с каким-то даже веселым выражением разглядывал пленника.

— Я вот думаю, что на моем месте сказал бы отец наш пророк? А он бы, мне кажется, сказал: «кто находится между живыми, тому остается надежда, так и псу живому лучше, нежели мертвому льву».

До чего они любят цитировать священное писание. Олле промолчал, повернулся набок. Громадный башмак — носок армирован метал-

Окончание. Начало см в № 7

лом — шевельнулся у самого лица. Олле остро ощутил свою беспомощность, непривычную и унижительную.

— Рекомендую, господа, анатом Олле. Вчера вы его видели в деле и убедились: несокрушим, свиреп, ловок. Все качества супермена. Но это видимая сторона. Кто он, Олле-великолепный? Что мы знаем о нем? Не много знаем. Лет ему тридцать пять, рожден в экспедиции на Марсе, с детства накачан утяжелителями, на Землю прибыл восемнадцати лет от роду и весьма быстро адаптировался. Интеллектуал — написал книгу «Исследование мимики и жеста древних народов Средиземноморья», которую никто из нормальных людей не читал, прославился как мим, записи стоит посмотреть, и вдруг ушел в охотники — последний легальный охотник на планете. Вот, пожалуй, и все, что нам известно достоверного. Экзотика! Сплошная загадка. Но далее загадки множатся... Неожиданно оставил службу в ИРП, это весьма уважаемая в мире ассоциатов организация, и месяца четыре назад появился в Джанати. Якобы вступил в права наследования. И почти сразу повел расточительный образ жизни, неестественный для ассоциата, которому должна быть присуща аскетическая склонность к самоограничению. Обратил на себя внимание крупными проигрышами в казино, ну и внешними данными. А скорее он сам хотел привлечь наше внимание. Зачем? С наследством вообще так запутано, что сам министр всеобщего успокоения разобраться не сумел. Эта неясность и побудила нас пригласить Олле в анатомы, чтобы на виду был. Мы пригласили, но, спрашивается, почему гуманист Олле согласился служить в синдикате, столь одиозном в глазах любого ассоциата и язычника? Мы успели показать Олле всем сотрудникам внешнего наблюдения, но как минимум раз в неделю он исчезал, уходил от нашего контроля. Спрашивается, куда и зачем? Как вы полагаете, Олле, мои вопросы закономерны?

— Здесь кто-то говорил о псе живом?

— Здесь я говорил, — Джольф взглянул на начальника охраны, именно он, звероподобный, водил своим ботинком возле лица скованного Олле. — Что там с собакой, Эдвард?

— Сбросили в ров. Кто-то польстился. Мясо.

Нет! Невозможно принять эту весть — щеночек Гром! Пес всегда виделся Олле щеночком. Таким, каким он был в первый день, там, в ИРП. Чистокровный дог, мутант Гром был совсем не похож на своих родителей, а с возрастом все более терял привычный облик собаки. В помете он оказался единственным детенышем, и случайно забредший в лабораторию Олле долго дивился на это глазастое и зубастое чудо. А потом попросил кинологов-

генетиков отдать щенка ему на воспитание.

— Берите! Мать все равно отказалась кормить его.

— И правильно. Сколько можно? Месяц, ну два от силы. Зубов-то, как у рояля, в два ряда.

Кинологи вежливо посмеялись:

— Что вы, Олле! Ему неделя от роду.

Щенок, наступая на собственные лапы, приковылял к Олле и гавкнул басом.

— Гром! — воскликнул навсегда очарованный Олле...

Черно и безразлично стало у него на сердце.

— Развяжите меня, если хотите со мной говорить.

— Нет! Мы имели возможность убедиться, что жизнь вам не дорога. В кресло его!

Анатомы не без оснований считали себя вполне подготовленными к злодеяниям: Джольф-4 не жалел денег на оплату инструкторов каратэ. Олле не раз с усмешкой наблюдал эти занятия, освоить два-три приема — это все, на что были способны приемыши и анатомы, поголовно страдающие бронхитом или астмой. Но недостаток умения они возмещали старательностью. А если иметь в виду полнейшее пренебрежение человеческой жизнью, то следовало признать, что Джольфу служили отъявленные бандиты...

Они набросились на Олле всей сворой. Они били туда, куда их учили, и не могли пробить броню его мышц. И связанный Олле был страшен — через пару секунд один из анатомов уже свалился с разбитой коленной чашечкой. Но тут начальник охраны дважды ударил Олле ботинком в подбородок... Втроем они усадили его в кресло и держали. Олле выплюнул кровь.

— Я тебя запомню, подонок!

Заболели истоптанные руки, прижатые к спинке кресла. Олле погасил боль, отложил ее на потом, это он умел делать, как и принимать на себя чужую боль.

— Продолжим, — сказал Джольф-4. — Я все думаю, с кем вы? Конечно, и генералу и премьеру была бы интересна конфиденциальная информация о нас. Но никому из них Олле-великолепный служить не станет, не так ли? Пророк Джон? Не серьезно. Остаются две возможности. Репрезентант Суинли, его любопытство к делам синдиката несомненно, но зачем бы стал на него работать мысляк Олле, ассоциат Олле, о религиозности которого и говорить не стоит. И последнее, наиболее вероятное... — Джольф-4 перегнулся над столом, он ловил взгляд Олле. — И последнее...

— Ерунда все это! — из раны и подбородка лилась кровь, Олле сосредоточился, чтобы унять кровотечение, сопели и плохо пахли анатомы. — Ерунда. Я сам по себе.

Джольф-4 выпрямился.

1144 — Непостижимо. Пытаюсь и не могу понять, — сказал он. — За минутное удовольствие заплатить жизнью, вы ведь знали, чем рискуете... испортить праздник! Это непростительно и... почему я с вами вожусь, Олле? Чем-то вы мне нравитесь. Может быть, своей раскованностью, непривычной для Джанатии? Или мне хочется обратить вас в нашу веру, безнадёжная попытка, не правда ли? А ведь наше почтенное общество пользуется уважением власть имущих. Имущих явную власть, тайная у меня. Премьер, генерал Брагис, наконец, пророк. Надеюсь, вы не думаете, что они нас боятся, надеюсь, вы понимаете, что их уважение искренне? Уж вы-то могли бы понять — организованная преступность один из краеугольных камней, на которых зиждется здание общества всеобщего благоденствия, государственный аппарат не мог бы существовать без нас, ему просто нечего было бы делать. Мы, и никто иной, обеспечиваем само существование полиции, судов, прокуратуры, тюремной администрации, банковской охраны, страховых обществ и еще многих других государственных институтов. Изыми мы свои вклады — и банковская система рухнет. Воздержись мы от ликвидации мысляков-экологов — и под угрозой спокойствие государства. Один мой сотрудник в ранге приемыша уже фактом своего существования гарантирует безбедную жизнь пяти государственных чиновников, такова статистика. Мы и только мы даем тем, кто стоит у власти, возможность продемонстрировать единство слова и дела, единство намерений и исполнения, о которых тоскуют управляемые массы. Процессы над мафией так утешительны, они будят веру в добрые намерения власть имущих. Вам еще не смешно, Олле? Государство с его центурией и другими карательными органами могло бы покончить с нами в считанные дни, но этого никогда не будет, оно не пойдет на это. Обратите внимание, в судах допустимы любые отклонения от закона, но нас, мафию, судят, скрупулезно соблюдая законность. Мы были, есть и будем. С нами всегда будут бороться, но никогда не победят!

Олле слушал этот панегирик преступности и по той легкости, с которой Джольф походя упомянул о расправе над экологами, понял, что приговорен: живому знать об этом не положено. Джольф прикрыл глаза, ему нравился собственный голос. Олле прервал его.

— Бросьте, Джольф. В истории нет такого преступления, которое не пытались бы оправдать соображениями высокой пользы и даже морали. Всякое убийство безнравственно, расправа над экологами преступна вдвойне, ибо они были беззащитны, как дети. За это преступление вы заплатите жизнью! И еще. Поразительно не то, что вы, видимо, всерьез

считаете полезной деятельность своей шайки. Поразительно, что вам верят.

Джольф стал непритворно весел. Нет, какое-то обаяние, свинское обаяние, в нем все-таки было.

— В вашем ли положении угрожать, бойтесь бога, Олле! Представьте себе, верят. Или делают вид, что верят, а это в общем равноценно. Не правда ли, господа?

Господа закивали. Двусмысленность вопроса не дошла до их мозгов, не привыкших к таким тонкостям. Эти верят, подумал Олле, жратва, женщины, деньги, зрелища — цель и смысл жизни для них. Только ли для них? А те, вдоль дорог, потенциальные миллионеры? Кто из них не пойдет в услужение к Джольфу с истовой верой и радостью?

— Преступник как личность не в состоянии подняться выше среднего уровня. И в силу этого крупный преступник вашего масштаба, Джольф, всегда концентрирует возле себя серость, оглянитесь. Гений и злодейство — вещи несовместные, или вы не слышали этого? — Олле торопил события, поскольку ощущал, что левая рука, неудобно зажата, стала терять чувствительность. Он заметил, что Джольф медленно бледнел, взгляд его терял осмысленность. — Власть и богатство, вот что позволяет утвердиться преступной личности, всегда, в сущности, мелкой и сознающей свою заурядность.

— Я не договорил, — хрипло произнес Джольф. Глаза его сходились к носу, и он, встряхивая головой, возвращал их на место. — Я еще не рассмотрел последнюю возможность. Точнее, единственно оправданную причину вашего появления в Джанатии. Дорогой подарок премьер получит от меня — доказательство нарушения конвенции о невмешательстве. И конечно, вы здесь не один, чтобы понять это, особого ума не нужно.

— Десяток разбитых физиономий у ваших мерзавцев да пара разорванных псом штанов — это вы называете нарушением конвенции? Ради вашей банды? Не обольщайтесь, Джольф, я сам по себе, я одиночка, как и вы, не имеющий отношения к Джанатии. Вы враг ее и не отождествляйте себя и свою свору с неким гражданским учреждением. Судить вас можно и по законам Джанатии, и по законам ассоциированного мира. Я в Джанатии потому, что хочу жить без самоограничений. Причина, на мой взгляд, вполне уважительная. И скажите... этим, чтоб не сопели так.

— Мои анатомы, — Джольф обрел способность смотреть прямо, — сейчас привяжут вас к этому креслу и, держу пари, вы назовете своих сообщников. Комбинированное воздействие электроточка на нервные и болевые центры не выдержать и вам, Олле. Сначала вы все

(145) скажете нам, а потом сойдете с ума от боли, превратитесь в тихого запуганного идиота, будете вздрагивать от резких звуков и бояться собственной тени.

— Развяжите, и посмотрим — кто кого будет бояться.

— Я не хочу лишать своих соратников удовольствия видеть, как будет терять лицо Олле-великолепный... Господа?

— Только чтобы сразу не подох, как старик Тим.

— Ну, он молод, силен. Он много выдержит. Привяжите его.

Четверо навалились, прижали. Пятый анатом завозился за спиной, пытаясь снять наручники.

— Шеф, здесь у него на руке какой-то браслет, я такого не видел.

— Любопытно, — Джольф вертел браслет, рассматривая экранчик и выпуклости узора. Он надавил на что-то там, экранчик осветился, побежали красные числа вызова. — Пусть посмотрят специалисты.

Браслет Амитабха — невиданный свет, подумал Олле, все-таки хорошо оснастил нас Са-тон. Вот сейчас, сейчас! Успеть поймать мгновение. Джольф сделал движение, и Олле отчетливо увидел, как складывается браслет. Ему давили на плечи, и он ринулся всем телом вниз, увлекая за собой рычащих охранников.

До того как браслет сработал, Олле успел спрятать лицо в колени, но невозможная по интенсивности вспышка света ослепила его. И он замер так на минуту, переживая световой шок, потом вывалился из кресла, сжался в комок, вывел из-за спины скованные руки и открыл глаза. Плоские черно-белые фигуры главарей и челяди были недвижимы, реальность для них исчезла.

Смотрели они на меня, думал Олле, так что сетчатка у них обожжена, но не выжжена, надолго вряд ли кто ослепнет. Он подполз к столу, взял блик, зажал в коленях, наложил соединяющую пластину наручников на раструб и изловчился нажать на спусковой крючок. Олле не считал блик серьезным оружием, разве что для ближнего боя. Но на выходе температура луча достигала четырех тысяч градусов, и пластина почти мгновенно испарилась. Таким же путем Олле избавился от оков и, морщась от ожогов, плеснул воды из сифона поочередно на стальные браслеты, оставшиеся на запястьях и лодыжках. Потом сжег кресло и пульт и отбросил ставший бесполезным блик.

Мир постепенно обретал объемность. Скорбя о том, что не может поднять руку на беззащитного, Олле с сожалением оглядел Джольфа и присных его, разоружил ближайшего громилу и вышиб ногой дверь. Он воз-

ник перед охраной с пистолетом в левой руке, злой и грозный. От хлесткого удара ладонью по шее обморочно закатил глаза и осел ближайший анатом.

— Не вздумайте стрелять! Изувечу! Лечь на пол, быстро!

Его знали. Со вчерашнего дня особенно хорошо знали. И с готовностью, словно только и ждали команды, повалились животами на замызганный пластик пола.

— Мне тоже лечь?— офицер спокойно смотрел в лицо Олле. После мгновения раздумий Олле поддался чувству симпатии.

— К дверям!— он шевельнул пистолетом.— А вам всем лежать! Кто двинется— пристрелю.

Они вышли, офицер впереди. Олле привалился к двери, его подташнивало. Где здесь выход?

— Ну что ж, пойдём,— офицер рассматривал его со жгучим любопытством.

— Куда?

— У вас сейчас путь один.

Олле почувствовал шорох за спиной, открыл дверь, рывкнул: «Лежать!»— и снова закрыл.

— Вы знаете мой путь?

— Знаю. Зовите меня Дин...

Они пробежали по длинному переходу. Оба стража с автоматами у неприметного входа в личную тюрьму Джольфа были мгновенно разоружены. Олле толкнул их в полутемный коридор тюрьмы, захлопнул дверь и задвинул наружный засов.

— Сейчас нас увидят на пульте в диспетчерской,— офицер вынул блик, Олле покосился на него, промолчал.— Идите впереди меня. Будет лучше, если вы мне скажете, сколько у нас времени...

Встречные подручные и приемыши, завидев Дина, вытягивались. Заминка произошла только в диспетчерской, где дежурный функционер, похоже, что-то понял. Во всяком случае, он сделал попытку вытащить пистолет. Олле, рыкнув зверски, пресек эту попытку. Дин, не обращая внимания на окружающее, сел за пульт, стал набирать команду на снятие электронного контроля выходных ворот.

— Работайте спокойно,— сказал Олле.— Еще минимум полчаса Джольфу и остальным будет не до нас.

На мониторе было видно, как отходят в стороны массивные полотнища ворот и поворачиваются в зенит стволы лучеметов.

— Основное питание я отключил, но система охраны имеет автономное энергоснабжение. Поэтому поторопимся.

Олле не пришлось сдерживать темп, Дин прозял себя с лучшей стороны. Они рванулись к стоянке транспорта, личный шофер

Джольфа, всегда дежуривший в лимузине, был грубо сдернут с сидения и отброшен в сторону. Олле занял его место, нажал на стартер, в ту же секунду Дин упал в сиденье рядом, и машина с места почти прыжком вынеслась за ворота.

— Нам нужно минут двадцать— и мы будем у цели.

— Вы рискуете карьерой,— Олле не отрывал глаз от шоссе, пустынного и извилистого.— Ради чего?

— И ради вас тоже, Олле. Наши, я имею в виду боевиков-язычников, будут рады вам. Впрочем, решать будете сами. А мне все равно пора было уходить, на меня прищуривались у Джольфа, да и премьер не очень жалует в последнее время. Должен сказать, у них есть к тому основания, гораздо большие, чем о том можно подумать.— Он помолчал, провоя взглядом промелькнувший пост контрольной. По обе стороны сплошной сверкающей лентой прозрачных покрытий тянулись гидропонные поля.— Дайте-ка мне ваш пистолет, похоже, Джольф очнулся от шока, не знаю, что вы там с ними сделали. Погоня— ерунда. Хуже, что через десять километров контрольный пост Джольфа, шоссе наверняка перекроют. Потому по моему сигналу выпускайте крылья, там голубая кнопка на пульте. Справитесь?

Олле не ответил. Почти инстинктивно он уловил движение впереди у обочины и бросил машину в сторону. Хвостатый снаряд базуки со сминающим шорохом мелькнул мимо. Взрыва позади они уже не слышали. Дин выстрелил навскидку, сдвинулся вперед и почти лег на длинный капот лимузина.

— Вверх, Олле!— закричал он, перекрывая вой встречного вихря.

Олле надавил кнопку, боковым зрением уловил, как выдвигаются короткие подкрылки, и ощутил отрыв машины от шоссе. Это был не полет в привычном для Олле понимании, это был длинный планирующий прыжок: над слагбаумом и шипастым участком дороги машина перелетела на высоте десяти метров. И резко, Олле сделал усилие, чтобы справиться с управлением, приземлилась на передние колеса. Еще в прыжке-полете Дин выстрелами поразил обслугу лучеметов, суевившуюся на плоской крыше здания поста. Теперь Дин сидел рядом, после второго поворота он, вытянув руку, выключил двигатель.

— Стоп!— он повожился с клавиатурой бортового компьютера, задавая на автомат маршрут. Выползли по бокам и образовали закрытую кабину обтекатели из поляризованного пластика.— Заберите запасные баллоны, Олле, пригодятся. Уходим...

Они поглядели вслед лимузину, набирающему скорость, и Дин повел Олле в сторону

от шоссе, в какие-то бетонные развалины. Пробираясь через хаос арматуры, они услышали смягченный расстоянием звук взрыва.

— Все! — Дин на секунду остановился. — Нас больше нет.

В завале бетонных обломков, остатков от входа в метро, как пояснил Дин, зияла широкая щель. Они вошли в нее.

Головоломная схема универсального самообучающегося домашнего кибера давала лишь общее представление о его электронной начинке. Дистанционная перенастройка казалась вообще невыполнимой — тем более что, как предупреждал Вальд, Ферро был собран из бракованных блоков. Сатон по просьбе Хогарда привлек большую вычислительную машину, ту самую, разработкой которой в свое время руководил генеральный конструктор Нури Метти. Машина выдала кипу текстов, по отзывам на них в управляющую систему кибера можно было по кусочкам внедрить новую программу. Нури возился с этими тестами больше месяца, предварительно он уволился с фирмы, ссылаясь на болезнь. Место за ним оставили: ценный работник, а в последнее время как заново родился, инициативен, активен... Он работал над программой с малыми перерывами на сон и еду. Соседи его не беспокоили, кого теперь беспокоят соседи? Местные агнцы не напрашивались на контакты, хотя пару раз забредали днем, оговариваясь необходимостью проверить регистрирующую аппаратуру. Он впускал, клал на стол купюру и, похлопывая пальцами по столешнице, молча ждал ухода. Независимость как черта характера своей непонятностью всегда пугает людей с рабской психологией, ибо может быть объяснена только силой, на которую опирается. Какие-то смутные слухи о всесии Нури ходили в среде окрестных агнцев. И Нури не трогали.

По ночам он связывался с Хогардом, от него узнавал, что поиски Олле по официальным каналам не увенчались успехом — это было главным. А потом Хогард рассказывал о текущих делах, о новых диверсиях воинов Авроры на автоматизированных предприятиях цветной металлургии и химии, о том, что диверсии нередко сопровождаются быстротечными ночными боями с полицией и отрядами лодменов. И еще о том, что агнцы и лодмены посещают совместные сборища, драки между ними поутихли — видимо, генерал Баргис и пророк Джон сумели договориться о совместных действиях; сращивание же церкви с армией, ну пусть не с армией, которая запрещена, а с полулегальными воинскими образованиями по типу штурмовых отрядов всегда чревато кровопролитием.

1471
Смерть старика Тима, исчезновение Олле сильно уменьшили поток информации, и материал для социологического анализа весьма скуден. Сатон главную задачу сейчас видит в том, чтобы всемерно помогать Норману Бекету, а чем можно помочь, кроме добротной информации? Он, Хогард, связывался с Сатоном. Они полагают, что действия воинов Авроры, деструктивные в сути своей, объективно полезны, поскольку разрушенные предприятия, как правило, уже не восстанавливаются, а это в конце концов будет способствовать принятию Джанатией экологической помощи ассоциированного мира. Но когда это будет? Из истории известно, что гражданские войны самые затяжные...

И настал день, когда Нури понял: дело сделано, команда на перестройку программного комплекса кибера Ферро может быть подана. Невозможное стало возможным: кибер будет фиксировать в блоках памяти всю дневную информацию и выдавать ее по команде в спрессованном виде.

Тут же возникло очередное, им не было числа, затруднение. Расчеты показали, что необходимая мощность командной, ударной трансляции на кибера существенно превышала возможности слабенького передатчика Нури. Из затруднения помог выйти Сатон, предложивший транслировать перестроечную программу через спутник связи. Один раз это можно было сделать. Для этого следовало доставить Сатону кассету с программой.

Никак нельзя было Нури вступать в личный контакт с Хогардом, каждый шаг которого находился под наблюдением недремлющего ока министерства всеобщего успокоения. И они решили воспользоваться «почтовым ящиком».

Хогард выехал из посольства и увидел четыре знакомые машины наблюдения. Хоть двадцать, злорадно подумал он. Маршрут советника Хогарда всегда один: посольство — торговое представительство. Не изменится он и сегодня. Хогард двинулся по спокойной улице старой части города, где были сосредоточены официальные учреждения. Как и везде, правящее чиновничество умело обеспечить тишину и порядок в своей жилой и рабочей зоне: здесь даже воздух казался чище. Все четыре машины сначала шли следом, но на повороте к центральному проспекту две из них обогнали его. Это естественно, в сплошном потоке машин лимузин Хогарда вполне мог затеряться, и потому — двое сзади, двое спереди. Привычная тактика.

Передние машины влились в поток, Хогард последовал за ними по проспекту, образованному пятидесятиэтажными коробками. Вспомнил, что в первые дни пребывания в Джанатии все поражался немислимому множеству ма-

шин. Потом понял: салон машины — единственное место, где можно дышать без маски. Для многих машина была не столько средством передвижения, сколько местом ночлега, домом на колесах. Безмашинные граждане на ночлег выбирались из города: все-таки загазованность меньше. Дешевого фильтра в маске хватало ровно на восемь часов — время сна на надувном матрасике где-нибудь на обочине. Но в том воздухе, что можно было высосать через фильтр, кислорода было недостаточно: отсюда бледность на лицах и трупы астматиков на обочинах.

На высоте десятых этажей проецировались разноцветные: «О себе думай!», «Наша надежда — пророк Джон», «Глупо иметь двух детей, еще глупей не иметь двух машин «Уют». «Раздельное проживание укрепляет семью. Покупайте два «Уюта». Призывы чередовались подвижными портретами пророка и генерала. Реклама работала всюю...

Пестро одетые толпы двигались по тротуарам вдоль витрин. На большинстве — маски телесного цвета. Но попадались плотные группы людей в демонстративно серых или черных масках — язычники разных толков. По разрывке курток и балахонов Хогард уже мог различать гилозоистов, утверждающих одушевленность, а скорее, одухотворенность материи, способной ощущать и мыслить; тотемистов в масках, напоминающих лица животных, наших братьев по крови, происхождению и среде обитания; зороастрийцев в белых одеждах с оранжевой окантовкой, почитателей четырех элементов — воды, огня, земли и воздуха; анимистов, одушевляющих силы природы; маздеистов, у которых Митра — бог небесного света, солнца и чистоты... Улица жила насыщенно, и мерцающий на фасадах призыв: «Природа консервативна, она не любит перемен. Следуй природе» — видимо, не срабатывал.

Машины в потоке двигались со скоростью пешехода, и Хогард замечал временами какие-то завихрения вокруг группок язычников. Люди в униформе бронзового цвета — лоудмены — затевали драки, которые как-то быстро затухали. Выделялись белыми касками и черными пластиковыми щитами центурионы, дежурившие в паре с роботами возле припаркованных у панелей машин. Полиция бдила.

А вот что-то новое: красная продольная полоса светофора неожиданно перечеркнула перекресток, пропуская пешую колонну, окаймленную бронзовыми лоудменами. Во всю ширь улицы был развернут транспарант: «Мы принялись!», а замыкал колонну, довольно длинную, на десять минут стоянки, лозунг: «Все не так плохо, как кажется». Боковые лоудмены иногда выкрикивали в микрофоны сентенции вроде: «Лучшая новость — отсутствие

1481 новостей!» и «Кто-то должен иметь привилегии!»

Наблюдая за неожиданной демонстрацией, Хогард включил рацию. Отзыва ждать не стал.

— Нури, не спеши, я немного опаздываю.

— Понял, — ответил Нури. — Я на месте.

Наконец колонна функционеров консервативной партии истаяла. Политическая жизнь в Джанатии была весьма пестрой и запутанной, влияние той или иной группы зависело не столько от ее численности, сколько от доступа к средствам информации. Консерваторы — партия весьма активная и даже воинствующая — занимали место между лоудменами и агнцами божьими, именно они обеспечивали массовость радениям агнцев. Хогард отдавал должное пропаганде защитников статус-кво, умело направляемой людьми грамотными и умными. Диапазон средств воздействия был весьма широк, от этих вот консерваторов с их универсальным лозунгом «Мы принялись!» до сектантов-непротивленцев, агнцев божьих, ведомых пророком. Это, так сказать, идеологическая надстройка. А силовая часть — полиция, полулегальные формирования лоудменов с их генералом Баргисом, бандитский синдикат Джольфа. И вся эта мощь — против язычников, всерьез не принимаемых и никем не признанных, вроде бы и не существующих. Не много ли?

Язычество многообразно в проявлениях своих, в нем каждому есть место по душе и убеждениям, нет нетерпимости. Хогард не видел реальной альтернативы язычеству в стране, где природа поругана и исчерпана; не считать же всерьез такой альтернативой лозунг консерваторов — «Пусть все остается, как есть, дабы не было хуже». Религиозный всплеск всегда является общественной реакцией на социальную несправедливость, и вполне закономерно успех язычества — религии надежды на радостное возвращение к природе, на единение с ней, неясное, но сказочно заманчивое. Осознанно или интуитивно власть имущие понимают опасность язычества для себя и его привлекательность для масс. Понимают и ведут массированную атаку, атаку переизбыточными силами. Но есть еще воины Авроры... Кстати, в ассоциированном на экологических началах мире язычество не прокламировалось, хотя в среде сотрудников ИРП языческое отношение к природе процветало. Оно словно бы подразумевалось у экологов, ибо отрицало бездумное потребительство: одно дело завалить родник бульдозером, совсем другое — убить нимфу ручья. Надо полагать, сторонники существующего положения понимают ущербность своей пропаганды, ведь «Мы принялись» — в сущности, лозунг, не имеющий смысла, неприкрытая демагогия. Потому

и атака на язычников ведется избыточно-превосходящими силами. Один язычник с его робкими призывами к совести и милосердию страшнее власть держащим, чем сотня фашиствующих лоудменов! Отсюда же и официальное замалчивание язычества. Нет его — и все тут! Идеологическая аргументированная борьба с ним невозможна, остаются лозунги, по возможности звонкие, но, увы, лишенные позитивного содержания...

Так размышлял Хогард, двигаясь в потоке машин до следующего перекрестка, где его должна ждать посылка от Нури. Двигался, стараясь подгадать к моменту перекрытия магистралей красной полосой. Он прибыл вовремя и остановил лимузин в трех метрах от перехода, обозначенного белыми пластиковыми дисками на асфальте. Передние машины с наблюдателями удалялись, подчиняясь движению потока. А вот и Нури. Он спешил последним по переходу с пакетом под мышкой. Замешкался, оглянулся, из пакета посыпались пластиковые тубы консервов. Нури наклонился было поднять, но загорелась зеленая полоса, он махнул, сожалея, рукой, вспрыгнул на панель и исчез в толпе пешеходов. Хогард тронул машину, услышал легкий щелчок снизу и улыбнулся: магнитная присоска сработала, с пятого от поребрика разметочного диска снята кассета для Сатона. А тубы остались на асфальте, сминаемые колесами машин.

Непрерывная открытая слежка сильно затрудняла работу. Слабым утешением было то, что следили за всеми без исключения сотрудниками посольства, консульства и представительств. Завтра кассета с программой уйдет к Сатону с курьером — сотрудником, отъезжающим в отпуск.

Хогард свернул в переулочек к зданию торгового представительства, сдвинул на лицо маску и вышел из машины. Лимузины наблюдателей выстроились неподалеку гуськом. Он помахал им, поднялся на ступени и почувствовал, как дрогнула земля. А потом над изумленно притихшим городом прокатился далекий гром, и в мутном небе вспыхнули багровые всполохи. Отчаяние рождает насилие. Воины Авроры стали действовать при свете дня...

Жрец-хранитель был стар. С какой-то робостью во взоре он рассматривал огромного Олле, что стоял в круге света без тени.

- Что привело вас к нам?
- Обстоятельства и давнее намерение.
- Вы искали встречи?
- Да. Случая.
- Цель?
- Служить делу Авроры.
- Ваша вера?

— Возврат возможен. На ином витке спирали, но возможен.

— Ваши убеждения?

— Человек — дитя природы. Не причиняй вреда матери своей.

— Что вы скажете о нем, Дин, поручитель? В круг вышел Дин, встал рядом с Олле, почти равный ему по росту.

— Язычество никого не отринет. Олле — язычник по своим убеждениям. Он светел в намерениях и поступках, и пусть Аврора, богиня утренней зари, даст ему удачу!

— Что вы скажете, братья мои язычники?

Олле ощущал присутствие многих людей, хотя и не видел их из своего светлого круга. Он был спокоен, и это чувство, от которого он отвык за время общения с Джольфом и его гангстерами, настраивало на внутреннее принятие свершавшегося обряда, омрачаясь только скорбью по Грому. Впервые за прошедшую неделю у него ничего не болело, а этим утром удивленные быстрым заживлением раны хирург-язычники, работники одного из госпиталей армии Авроры, сняли швы на подбородке.

— Пусть он назовет тотем! — сказал кто-то из тех, кого он не видел.

— Два! — ответил Олле. — Собака и лошадь.

— Он выбрал правильно, — сказал жрец. — Из живых.

В зале зазвучали птичьи голоса, видимо, включили запись. Когда эта музыка лесного утра стихла, сладко засвистел божок ночи соловей.

— Принять его и оказать первый знак доверия.

Соловей прозвенел хрустальным колокольчиком и смолк.

— Отныне вы брат наш язычник, Олле. Спасибо всем. Мы с Дином завершим обряд. И пусть каждый делает свое во славу Авроры.

В полутьме послышалось движение множества людей, и пространство расширилось. К тому времени, когда белый круг, образованный терминалами световодов, потускнел и стали различимы предметы в сумеречном освещении окрашенных светящейся краской стен, они остались втроем в зале станции. Из черного зева тоннеля донесся далекий шум проходящего поезда.

— Они растекутся постепенно по всему маршруту. Администрация подземки всегда выполняет наши необременительные просьбы. Скажем, подать поезд или временно прекратить движение на какой-то линии...

Дин, говоря все это, помог жрецу снять алую мантию и высокую конусообразную шапку в золотых звездах. Он был преисполнен почтения. Жрец опирался на руку Дина и ста-

рался держаться прямо. Старомодный костюм и белая манишка с галстуком смотрелись как привычный для него наряд. Он протянул руку, и его маленькая сухая ладонь утонула в ладони Олле.

— Здравствуйте, Олле. Рад видеть вас в наших рядах. Дин много рассказывал о вас и вашей собаке, и я почему-то ждал встречи. Позвольте представиться: профессор природоведения на кафедре экологии столичного университета. Бывший. До того, как кафедру разогнали, признав вредоносной, смущающей умы и распространяющей зловредные семена язычества. А сейчас вот возвысился до уровня жреца-хранителя в языческом капище. Работа почти по специальности, хотя в ведомстве у меня пробелы, литературных источников мало, многие обряды изобретаем сами по наитию. Здесь я сильно надеюсь на вас, Олле.

— Что я знаю — все ваше.

— Жрец-хранитель! Мог ли ты это представить, Дин, когда слушал мои лекции? Ты ведь был не худшим моим учеником.

— Да, профессор. Я хочу сказать, нет, профессор.

Жрец печально улыбнулся.

— Какое сейчас природоведение, скорее нечто из области воспоминаний. Наука о невозвратно утраченном, не правда ли, Олле?

— Не могу согласиться с вами, профессор. В ассоциированном мире я работал у Сатона в ИРП. Вам здесь в Джанати трудно представить, сколь быстро природа залечивает раны при разумной и ненавязчивой помощи человека...

— Если она не совсем исчерпана, Олле, не совсем исчерпана. У Сатона, счастливца... Мы участвовали в разработке глобальной программы реставрации природы, опасное, представьте, занятие в Джанати. На программу вся наша надежда, но Джанатия, увы, не приняла ее... Утраченный генофонд невосстановим. Знаю, в ИРП создают подобию, конструируют новых животных. Это, конечно, хорошо, хоть что-то. Но химера не заменит подлинника.

— Новые поколения воспримут химеру как изначальную данность, для них стараемся.

— Мы, надеюсь, еще поговорим с вами о Сатоне, о вашем институте...

— Поговорим, — наверное, среди убиенных экологов были люди молодые и сильные, но Олле почему-то представился сопящий анатом рядом с беспомощным в своей бесплотной старости жрецом. — Скажите, профессор, вас много уцелело?

— Я один... Те, кто случайно не были на открытии сессии, потом просто исчезали без следа. Дин привел меня сюда... Язычников всегда гнали... Сейчас, прошу вас, надо закончить обряд, пойдёмте.

Тоннель, в котором были сняты рельсы и чувствовалась под ногами плохо утрамбованная щебенка, вывел их в обширное, теряющееся вдали помещение.

— Музей тотемов! — громко сказал жрец-хранитель. — Первый знак доверия. Смотрите, Олле, что утратила Земля по вине человека, и скорбите вместе с нами.

Белый свет залил зал с квадратными колоннами и остатками фундаментов снятых станков. Наверное, здесь когда-то были ремонтные мастерские... Олле замер: стены и колонны были увешаны цветными изображениями животных в тяжелых рамах.

Язычник по своей сути, Олле зная все это, но снова душа его наполнялась печалью. Прекрасное прошлое Земли, необратимо утраченное, смотрело на него прозрачными глазами зверей, их благородные лица, чудилось ему, несли печать обреченности. Обреченности и вопроса: почему для маленькой газели Томсона не нашлось места на Земле? Чем провинился перед человечеством синий кит? сурок? стеллерова корова? тигровый питон? носорог? ламантин? тасманийский дьявол? единорог? кондор? маленький лис корсак? утконос? сумчатый волк? бухарский олень? выхухоль? венценосный голубь? гепард? дрофа? И сотни других, исчезнувших как вид с лица Земли. Не-возвратно исчезнувших!

Эти мысли одолевали Олле, пока они шли. А прошли они только раздел млекопитающих. Рыбы, рептилии, птицы, растения — это было впереди, скорбная галерея казалась бесконечной, и не было счета потерям.

— Выбирайте стезю, брат наш язычник. У нас каждому найдется дело по душе: и смиренному чистильщику, и стратегу-экологу.

— Я преисполнен скорби...

— Вы сделали выбор?

— Моя ненависть ищет выхода, отравителям нет оправдания. Воин Авроры — вот мой путь. Я найду покой, когда оживет река.

При подготовке диверсии самым сложным было найти сухой и, желательно, разветвленный ход со многими выходами на поверхность вне жилых районов либо в районах, покинутых людьми. Самодельные, изготовленные в подземных мастерских ракеты язычников, отличаясь высокой точностью, имели дальность всего три километра. В городских условиях этого было вполне достаточно. Обычно в сумерках воины Авроры, возникая на поверхности в подходящих развалинах, быстро монтировали примитивные пусковые установки и тут же исчезали. Пуск ракеты осуществлялся сигналом по радио, и ответный удар, если он был, приходился по пустому месту. Атака с

десятка точек позволяла вывести из строя резино-техническое предприятие средней величины на месяц-два, а если потом работа возобновлялась, язычники проводили новую диверсию.

Очень удобны были заброшенные подвалы, в них можно было работать и днем, размещая сразу несколько пусковых установок. Ракетный залп из развалин бывал порой весьма эффективным.

Карты подземных коммуникаций если когда-либо и существовали, давно были утрачены. Штаб армии Авроры организовал специальные группы, которые непрерывно вели разведку коммуникаций всех видов — для обеспечения текущих военных действий и на будущее, когда придется создавать новое безотходное, экологически чистое производство.

Центральный штаб с его электронным оборудованием размещался в широком тоннеле, немногочисленный постоянный персонал так и жил здесь, в боковых ответвлениях, разделенных на клетушки — у каждого своя. Потолков не было за ненадобностью, пластиковые перегородки создавали лишь иллюзию уединения, но Олле быстро привык и успевал высыпаться на своей надувашке за немногие часы свободного времени. Он проходил что-то вроде стажировки при штабе, постигая тактику партизанской войны в Джанатии. Времени на беседы с жрецом-хранителем не оставалось, да и резиденция жреца размещалась в часе езды на метро. Приметному Олле не следовало без крайней необходимости показываться где бы то ни было.

Олле не спешил восстанавливать связь с Нури, хотя имел возможность подать о себе весть. Он знал, чем это кончится. Сатон немедленно отзовет его: одно дело разведка, другое — прямое участие в боевых операциях. Олле захотел остаться в нарушителях запрета, он любил поступать по-своему, если это не мешало жить другим: запреты себе он устраивал сам. По утрам, когда затрагивал бритвой косой шрам на подбородке, Олле вспоминал о допросе у Джольфа. И он всегда помнил расстрел пони и ощущение мокрой от крови шерсти Грома на ладонях. Как там Джольф говорил: «ликвидация мысляков-экологов»? Нет, из Джанатии он не уедет. Долги надо отдавать.

Насколько Олле разобрался в структуре, командующего у армии Авроры не было. Было командование. Местные операции готовили региональные штабы, поручая их выполнение выборным командирам групп, крупные готовил центральный штаб. Воины Авроры не испытывали нужды в стрелковом оружии, ракеты же делали в ремонтных мастерских метрополитена: в администрации подземки боль-

(151) шинство тайно, а многие явно исповедовали язычество.

Уже через неделю после посвящения Дин, руководитель отдела разведки армии Авроры, привлек Олле к разработке операции, над которой штаб работал давно и без особого успеха. Объектом диверсии должен был стать комбинат полиметаллов. Расположенный обособленно, в стороне от крупных городов, этот комбинат полностью погубил всякую растительность в радиусе ста километров, сделал громадную территорию абсолютно непригодной для жизни. Комбинат был предельно автоматизирован, ремонтники и наладчики доставлялись сюда вертолетами лишь раз в неделю на четыре часа. Воины армии Авроры многократно пытались взорвать это гнездо отравы, но картель не пожалел сил и средств для его защиты. Ночью бесчисленные детекторы инфракрасного излучения регистрировали любую попытку приблизиться к комбинату, и тогда автоматически срабатывали лучеметы. Днем территорию комбината патрулировали анатоми из синдиката и смешанные пары — центурион и андроид — собственной полиции картеля. Неудачей закончилась попытка взорвать комбинат с воздуха: управляемый по радио вертолет, заполненный взрывчаткой, был сбит лучеметами, не достигнув и стен ограждения. Рабочие обыскивались перед посадкой в вертолеты, и доставить взрывчатку частями было невозможно. Ничего путного не дала и разведка подземных коммуникаций: пройти через забитые ядовитой слизью стоки невозможно, технологические тоннели заминированы на всем протяжении. От привычной тактики ракетного обстрела с близкого расстояния пришлось отказаться. А смертоносный монстр днем и ночью продолжал выбрасывать из своих труб сернистый газ, фтористый водород, двуокись азота и серы, своей несокрушимостью повергая в отчаяние центральный штаб армии Авроры.

Олле предложил необычный план диверсии тремя бронированными машинами-автоматами. Этому должна была способствовать отличная дорога, сперва петляющая между дюнами и свалками, а на последнем километре идущая прямоком к воротам комбината. Если знать точный план дороги и ее профиль, а в штабе эти данные есть, то можно задать автомату маршрут и скоростной режим. На скорости в триста километров в час машина преодолет прямой участок за двенадцать секунд. За это время охрана не сумеет ничего понять, а боевые лазеры, если и работают, не успеют прожечь зеркальную броню машин.

Диверсия свершилась, как было задумано. Набитый взрывчаткой лимузин вывернул из-за поворота на прямую и, взревев ракетными

ускорителями, ринулся вперед. Только на последней сотне метров он был накрыт лучами боевых лазеров и сияющей вытянутой молнией ударил в металлические ворота ограды. Взрыв словно испарил ворота; в его адском пламени исчезли и решетчатые вышки с лучеметами, и здание охраны. В пролом ринулись одна за другой еще две машины. Первая проломилась бетонную стену цеха, вторая взорвалась внутри, полностью разрушив вакуумные плавильные печи.

Этот взрыв печей и слышал Хогард утром того дня, когда Нури передал ему кассету с командой на перестройку программного комплекса киберы Ферро.

Через спутник связи и Хогарда Сатон сообщил, что командный удар по киберу состоялся и с ним можно начать работу. Но прошло еще несколько дней, пока Нури, позвонив из автомата, вызвал Нормана. Серый от усталости и недосыпа, Нури усадил Бекета в кресло и включил запись. Из прибора послышался тонкий писк — и почти сразу все кончилось.

— Ну как? Вам понравилось, Норман?

— И это все?

— А вы что думали, Норман Бекет? Не говорить же мне с ним часами! Вся дневная информация — за пять секунд.

Норман вскочил, облокотив Нури, как клещами, и поднял вместе со стулом.

— Вальд, дружище! Если это так, то ты даже не знаешь, что ты сделал! Давай сейчас послушаем, а? Ты, я знаю, устал, но я тебя очень прошу!

— Конечно, — Нури был тронут столь неожиданным и бурным проявлением чувств. Что-то забытое в этой сумасшедшей гонке, в этой ненормальной жизни без просветов почудилось ему. Вот так необузданно радовались жизни его пацаны-дошколята в ИРП, так смеялся Олле, победив в беге своего пса. Норман теребил застежки шлема, глядя на него блестящими глазами.

Нури перемотал пленку, вставил ее в дешифратор, включил.

— Это третьего дня совещание у пророка. Сугубо конфиденциальное. Полагаю, они смотрели видеозапись парада лодменов.

Послышался недовольный старческий голос:

— Не то, Джон, все не то. Взгляните на их животы и лица, разве ради них святая церковь прилагает столько усилий. Почему нет молодежи, где интеллигенция? Те, кого вы ведете, — стадо.

— Ваше преосвященство, — зазвучал командный бас. — Обойдемся наличными силами. Что касается интеллигентской сволочи, то от них вся смута. Мои парни давят их и

будут давить. Это они, мысляки, вечно недовольны существующим порядком, органически не способны соблюдать закон о дозволенных пределах размышлений, дурацкий, кстати, закон, кто его придумал, тому мозги вышибить надо. Не вижу большой беды и в том, что рабочих мало в рядах агнцев божьих. Их нет и среди лодменов, чисты наши ряды.

— Вы согласны с этой точкой зрения, Джон?

— У меня нет расхождений с генералом, мы достаточно понимаем друг друга. Не надо ждать консолидации всего общества, это химера. Язычники никогда не будут с нами.

Нури взглянул на Нормана. Перед ним сидел, казалось, совсем другой человек, напряженный, с застывшим взглядом серых глаз.

— Старик — это, похоже, репрезентант Суинли, — пробормотал Нури. Норман молча кивнул.

— ...Но где подлинная массовость движения? Лишний десяток тысяч хулиганствующих типов, подобных этим, не делает погоды, извините, генерал, за резкость. Движение теряет смысл. Оно идет на убыль, хоть это вы понимаете? Полтора года усилий дали очень немного. Язычество усиливается, его лозунги становятся все более привлекательными, армия Авроры, о действиях которой мы молчим, набирает силы. Мы говорим об интересах текущего дня, они предлагают программу на будущее. Человек не может не думать о будущем, оно в его детях. Мы стимулируем выпуск машин — это для сего дня. Это хорошо, но рынок уже перенасыщен машинами, и призыв владеть машиной, пока она не овладела нами — не спорю, это у вас, Джон, эффектно получается, — уже почти не действует. Кто для нашего движения сделал больше меня? Но я спрашиваю себя, я спрашиваю вас, Джон, вас, генерал, и вас, господин Харисидис, есть ли реальные надежды сохранить статус-кво? Или надо признать неизбежность принятия экологической помощи и постепенно, пока мы еще у власти, готовиться к тому, чтобы войти в новые времена и порядки с наименьшими для нас потерями. В вашем движении, Джон, я искал путь, но не просветил господь слугу своего, и я не вижу: что дальше?

После длинной паузы пророк произносит:

— Диктатура церкви!

И тотчас сдавленный полушепот репрезентанта:

— Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его! Вы с ума сошли, Джон. Диктатура церкви! Было это, все было! Нам не хватает только светской власти, не хватает еще взвалить на церковь ответственность за все, что творится в нашем обществе всеобщего благоденствия. Вы задумывались над вопросом, почему за тысячи лет церковь пережила

и вынесла все — смены формаций, войны и катаклизмы, средневековые и возрождение, революции социальные и технические? И уцелела. Все проходило, а церковь стоит. Человечество осваивает новые миры, а церковь стоит! Человек овладевает механизмом наследственности и творит чудеса, о которых молчит Библия, а церковь стоит! Почему? Я отвечаю. Потому, что мы всегда стремились к власти над душами — это самая реальная власть. Опыт церкви показывает, сколь иллюзорна и преходяща власть светская, ведь и она была в наших руках, была и ушла. Но мы есть, ибо за века отшлифовали, довели до высшего совершенства искусство компромисса — уступать не уступая, уходить, оставаясь. Мы стали мудрыми с мудрецами и кроткими с бедняками, мы покинули ризницы и ушли в народ, мы приняли даже релятивизм и уживаемся с атеизмом. Мы пришли к пониманию, что атеизм в конечном счете укрепляет позиции церкви, ибо делает более очевидной ее роль носителя общечеловеческих ценностей в сфере этики и морали. И атеисты, в конце концов, вынуждены принимать нашу мораль: другой в человеческом обществе быть не может!.. Я грешен, господа, я допускал в нечистых помыслах своих, что новая ересь, вера в пришедшего кибера будет безобидна для людей и полезна для церкви истинной. Как антитеза ее, как убедительная демонстрация еще одного ложного пути, после которого лишь останется вернуться в лоно истинной веры. Должен был я предвидеть, но не сподобил господь, в какую пропасть ведет этот путь. Сейчас говорю вам: остановитесь!.. И я скорблю, господа, ибо как суббота для человека, а не человек для субботы, так и церковь для людей, а не люди для церкви. Одно дело удерживать паству от насилия, от стремления изменить порядок и сущности, и совсем другое — диктатура именем церкви. Любая диктатура есть насилие. Зачем вину за насилие брать на себя? Я стар и хотел бы служить добру, но ложен был мой путь, и вижу: я повинен во зле...

Пророк непочтительно перебивает его:

— К чему столько пафоса и эмоций! В ваших устах этот панегирик человеческому разуму и добру просто смешон. Диктатура неизбежна, и сие от вас не зависит, у нас просто нет другого выхода: язычество набирает силы, идейная борьба с ним не дает результатов, приемлемых для нас, обстоятельства принуждают нас к насилию. Вы задавали нам вопросы, теперь позвольте вас спросить: а не является ли история церкви историей борьбы с язычеством?

— Вы правы, Джон, вы правы! Борьба с язычеством — великий грех монотеизма вообще и христианства в особенности. Господь

выделил человека из природы, поставил над ней. И я, служитель божий, усомнился...

— Зеленый! Язычник!

— Ну-ну, генерал, — голос пророка ласков. — Вы преувеличиваете. Сомнение — простительный грех, и апостолы сомневались... Его преосвященство внес достойный вклад в наше движение, он стоял у истоков и, как говорит мой кибер Ферро, выполнил предначертание. Теперь мы достаточно сильны... Я уполномочен объявить вам, господа, что по общему согласию руководство движением отныне полностью переходит в мои руки. Его преосвященство не нашел общего языка с теми, кто нас финансирует...

— Тут неподалеку на помойке недавно видели собаку. Я вас покидаю, господа. — В старческом голосе репрезентанта слышится ирония. — Надо съездить, возможно, и мне повезет. А потом пойду... повою.

В этот раз пауза тянется нескончаемо, присутствующим нужно время, чтобы прийти в себя от шока.

— Репрезентант слишком тонкий политик. Он не понимает духа времени. Больше прямоты, больше действия, больше, если дозволено сказать, наглости. Вот чего мы ждем от вас. — Это тоже знакомый по телевидению голос папаши Харисидиса.

— Совершенно с вами согласен, — говорит пророк. — Мы хотим, чтобы вы убедились в нашей готовности к действию.

— Лоудмены могут выступить в любой момент. Покончим с язычниками!

— Да! И я полагаю, весьма полезным будет, если Джольф-4, чистейший в помыслах, нанесет удар по гидропонным предприятиям. В любом случае мы в этом замешаны не будем...

Совещание длится более двух часов, и постепенно перед Нури и Норманом разворачивается картина масштабного заговора, охватывающего все звенья государственного аппарата.

По мнению пророка, движение достигло своего апогея, когда к нему примкнул известный своими радикальными убеждениями отставной генерал Баргис. Генерал привел с собой полтора десятка тысяч горластых фанатиков тишины и порядка: после ликвидации регулярной армии — вынужденная уступка ассоциированному миру — многие офицеры примкнули к лоудменам. Генерал оказался настоящей находкой, он воплотил в дело соглашение о сотрудничестве. Он создал и возглавил военный штаб, наладил взаимодействие с полицией, особенно с теми ее формированиями, которые непосредственно вели бои с армией Авроры, нашел общий язык с синдикатом Джольфа и умело пользовался услугами его анатомов.

(113) «Аэлита»-89

Короче — он взял на себя всю оперативную подготовку переворота. Можно считать ее законченной, остановка лишь за деловыми кругами.

Господин Харисидис заверил присутствующих, что в деловых кругах деятельность штаба встречает понимание и что премьер-министр, милейший, надо сказать, человек и широких взглядов, полностью в курсе событий. И совещание приступило к обсуждению конкретных деталей намечаемого переворота.

Норман дослушал все до конца, вынул из аппарата и спрятал на груди кассету.

— Спасибо, Вальд. Твою услугу переоценить нельзя! Мы еще увидимся, — лицо его было отрешенным и замкнутым. — А сейчас я должен исчезнуть.

— Что будет, Норман?

— Будет то, что должно быть. Это судороги уходящего. Править по-старому они не в состоянии. Нового принять не могут, в новом для них нет места. В прошлом такая ситуация рождала фашизм. Будет борьба. И знаешь, что в ней самое страшное? — он помолчал. — То, что мещане тоже люди.

Он застегнул на груди лямки пояса астронавта и оглянулся в дверях.

— До встречи, друг.

— Тебя убьют, Норман.

— Ну, не сразу. — Норман натянул шлем, улынулся. — Я пока еще депутат парламента, а они вынуждены до поры соблюдать приличия. И вообще — это не так просто.

Олле вошел в руководящий состав центрального штаба армии Авроры как-то незаметно для себя. Сначала Дин привлекал его к обработке и анализу информации, поступающей от разведывательных групп, потом Олле постигал основанную на скрупулезной исполнительности и дисциплине тактику партизанской войны в городских условиях и накапливал личный боевой опыт. В последнее время, случалось, Олле командовал боевыми группами «многослойного прикрытия». В штабе считали, и Олле разделял эту точку зрения, что в городской операции главное — прикрытие. Это когда две-три независимо действующие диверсионные группы выполняют главную задачу, а мгновенно возникающие группы прикрытия отвлекают на себя полицейские силы и тут же исчезают в толпе, а ночью — в развалинах или подземных переходах. Очень эффективная тактика.

В этот день с утра Дин был чем-то озабочен, но нашел время предупредить Олле, что жрец-хранитель ждет их, дабы оказать второй знак доверия. Это высокая честь, не многие удостоены ее.

1541 До резиденции жреца они добирались на метро с двумя пересадками и в сопровождении группы боевиков. Олле был слишком заметен, и стать его угадывалась под любым гримом. Впрочем, признаков, что за ними охотились, как сказал Дин, не было. То ли Джольфу было не до них, то ли взрыв лимузина на шоссе был достаточно убедительным.

Жрец ждал их в музее тотемов, облаченный в свою спецодежду — алую мантию и синюю шапку в звездах. Он обнял Дина и тепло поздоровался с Олле.

— Наслышан о ваших успехах. Этот цементный смерть-завод, я ненавижу его со времен студенчества: архаичная технология, насмешка над здравым смыслом. Я смотрел — после взрыва там вообще только прах и тлен.

— Ничего особенного, профессор. Ухитрились накрыть завод облаком бензинового аэрозоля, потом всего одна ракета, взрыв, выгорание кислорода в объеме, занимаемом аэрозольным облаком, и схлопывание образующегося вакуума.

— Олле вносит разнообразие в нашу диверсионную деятельность, — сказал Дин. — Он неистощим на выдумки.

Так они беседовали, проходя по заброшенному тоннелю.

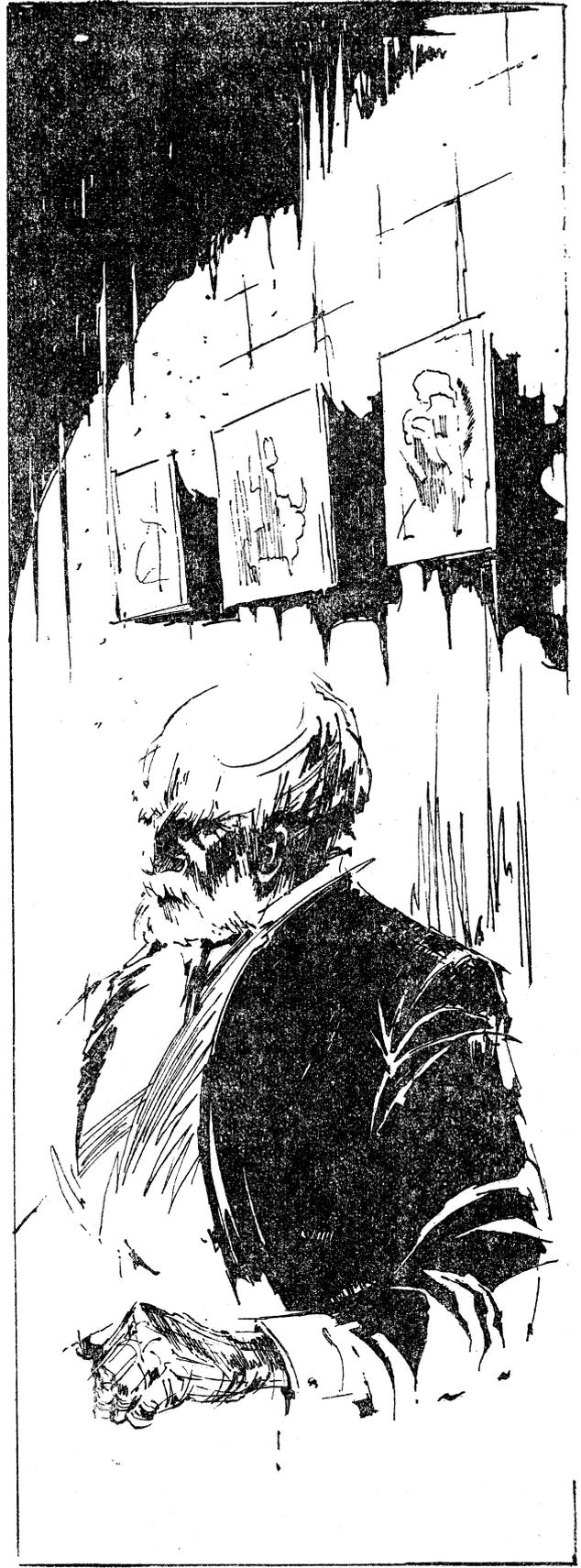
— Второй знак доверия! — Они остановились перед тяжелой двустворчатой дверью, украшенной выпуклым резным изображением львиной головы, покоящейся на когистой лапе.

Жрец тронул коготь на лапе, и створки разошлись.

Олле не заметил ни высоких сводов украшенного колоннами зала, ни великолепных светильников, неожиданных здесь после мрачных переходов. Олле увидел детей. Это было непривычно. В Джанатии дети не играли на улицах, дети прятались в квартирах и машинах, где можно было дышать. Здесь они стояли молча, пряча глаза, и, вслушиваясь в их молчание, Олле вспомнил звонкозвучных подпечных Нури. Он взгляделся в лица с синюшными кругами под глазами и на скулах и задохнулся от тяжелой злобы, от темного гнева на страшный мир взрослых, в котором если недостает доброты, то разума должно бы хватить для понимания той маленькой истины, что на нас жизнь не кончается, что дети после нас жить должны. Кошке это понятно, кошка лапой скребет, следит, чтобы после нее на Земле чисто было...

— В музее тотемов вы видели утраченное. Здесь то, что осталось — звери, сохранившиеся в Джанатии.

К зверям были отнесены мыши домашние, проживающие в ящике со стеклянными стенками, две серые крысы в большой клетке и



пара мелких собачек помойной породы. Под потолком чирикали не живущие в клетках воробьи, а внизу ковырялись в рассыпанном корме неаккуратные сизые голуби, и в том же вольере сидели хмурые вороны. Был еще зверь кот, он лежал на подушке и был удобен для обозревания и робких поглаживаний.

Жрец проследил взгляд Олле.

— Это брошенные дети, сейчас многие бросают детей, мы подбираем, кто-то должен думать о будущем. У нас несколько приютов и даже школы имеются, в метро, вы знаете, можно дышать без маски. Сегодня экскурсия в зверинец — так важно знать, что на Земле человек не одинок, что есть кошки и вороны и собаки. Сейчас у нас здесь несколько сотен детей от пяти лет и старше.

Дети, узники неустроенного мира, несправедно осужденные на муки за грехи своих родителей, не смотрели на взрослых, они созерцали животных, группками толпясь у ограждения. Красиво одетые дети с белыми лицами...

Олле словно наступили на сердце. Ему стало стыдно своего здоровья, силы и благополучия, того, что вот он может уйти отсюда в любой момент, вернуться в привычный мир ИРП, расстаться с Джанатией, очнуться от нее, как от дурного сна... А дети? Куда им уйти? А ведь были сомнения: не превысил ли полномочий, ввязавшись в драку, нарушив оправданный высокими соображениями принцип невмешательства? Сомнения, видишь ли... были...

— Я знаю, гнев ваш праведен и ищет выхода, — жрец смотрел в глаза Олле и тонкими движениями касался его груди у сердца. — Не надо слов, слова придут потом. Я хочу удвоить вашу силу и снять тяжесть с души. В Джанатии мало радости, а человек не может без нее. Примите наш подарок. И мы, кто здесь сейчас, порадуемся с вами. Дин, пусть он войдет!

Но он не вошел, он ворвался — лишь только Дин чуть приоткрыл малозаметную дверь.

— Святые дриады, — прошептал Олле, упав на колени и протягивая руки. — Гром! Щеночек мой...

Вечером в штабе были включены все экраны. Диктор известил о чрезвычайном сообщении, с которым выступит премьер-министр.

На экранах премьер хорошо смотрелся: государственный деятель, для которого безопасность страны и благополучие граждан — единственная забота.

Он откровенно сказал, что устои шатаются, поскольку общество расколото усилиями тех, кто называет себя язычниками. Язычество —

159) безнадежная попытка пробудить в человечестве давно угасшие атеистические верования, возможно, и оправданные на заре цивилизации, но смешные в наш век всеобщего прогресса. Не для того человек — венец божественного творения — вырос до царя природы, чтобы в итоге признать себя недостойным лидирующего в ней положения. Доктрины язычества настолько несерьезны, что оспаривать их бессмысленно. Вместе с тем правительство считает, что в свободной демократической стране, каковой является Джанатия, каждый вправе выбирать себе веру по сердцу и уму: свобода совести — один из краеугольных камней демократии. Никто не может сказать, что правительство виновно в гонениях на язычников, в ущемлении их прав, оно всегда было лояльно к верующим. Но лояльны ли язычники к государству, к обществу, благами которого они пользуются? Этот вопрос правительство вправе поставить перед гражданами Джанатии.

Тут премьер сделал длинную паузу, перебирая на столике листы с текстом выступления.

— В язычестве, — продолжал премьер, — выделилось агрессивное крыло, сформировавшее так называемую армию Авроры. Бандитские формирования этой армии ведут войну против сил порядка. Войну, прямо направленную на подрыв экономики Джанатии. Те выстрелы и взрывы, которые слышат по ночам граждане, — есть отголоски этой войны. И правительство более не вправе скрывать вред, который наносится экономике. Разрушены многие жизненно необходимые предприятия. Руководствуясь гуманными соображениями, правительство не предпринимало жестких мер против армии Авроры. Мы надеялись, что все образуется само собой и что, поняв бессмысленность диверсионной деятельности, язычество откажется от вооруженной борьбы, переведет ее в плоскость идеологии. Правительство готово было способствовать этому, ибо в Джанатии каждый может говорить все, что угодно, соблюдая одно условие — не посягать на устои. К сожалению, наша позиция не оправдала себя. С прискорбием должен сообщить, что армия Авроры ударила по самой основе жизни — по гидропонным сооружениям.

На экранах возникли развалины гидропонных теплиц, снятые с вертолетов. Панорама производила жуткое впечатление — сплошной хаос пленки, труб и решетчатых конструкций. Потом крупно были показаны рабочие, убирающие лопатами зеленую слизь, все, что осталось от растений, показаны погрузочные машины и бульдозеры, работающие в развалинах.

— Граждане Джанатии знают, что в стране нет голодных, что необходимые продукты питания щедротами картеля и банков даются бесплатно и никто не ведает заботы о хлебе насущном. Мне горько, но я вынужден сообщить, что отныне мы вынуждены ограничить в рационах натуральные продукты. Естественно, на жеватин, как продукт синтетический, ограничения не распространяются...

Премьер еще долго говорил, но его плохо слушали.

— Гнусная провокация! — Дин ударил кулаком по столу. — Я не думал, что они решатся на такой ущерб. Мы не трогаем предприятий пищевой промышленности, все это знают. Нет, каков масштаб провокации!

Офицеры подавленно молчали. Потом Олле спросил:

— Вы сказали: «не думал, что они решатся». Вы знали?

— Вчера был предупрежден, только не знал, где и как они ударят, а то бы мы их встретили. Это работа Джольфа-4. Сейчас Баргис бросит на нас своих лоудменов, нанеси удар по организованному язычеству — его давняя мечта. Генерал жаждет крови. Потом, когда язычество как движение будет уничтожено, они увеличат раздачу пищи, восстановить гидропонные теплицы — не велика задача. Передача власти пророку, осторожный выборочный террор против интеллигенции — и все вернется на круги своя, легальная оппозиция им не страшна.

— Надо организовать охрану пищевых предприятий, — сказал кто-то из офицеров.

— Это значит подставить под удар наши боевые группы. Объединенным силам полиции, лоудменов и гангстерского синдиката мы противостоят не сможем...

Олле прислушивался к беседе, положив руку на голову пса. Гром с момента встречи не отходил от хозяина, все стараясь заглянуть ему в глаза. Язычники-хирурги сотворили чудо, вернув пса к жизни. Раны на собаке зажили, но выделялись на черной шерсти серыми пятнами, следами стрижки и повязок.

— И еще прошу учесть, — Дин приглушил звук видео, — генерал собирается выкурить нас из метро в ближайшее время. Мне это доподлинно известно.

— Что значит выкурить?

— Пустить ночью в метро хлор. И помешать этому мы не можем, сил не хватит.

— Они знают, что у нас здесь дети.

— Не обольщайтесь, для них нет запретов. Эвакуацию детей надо начать утром с первыми поездами.

— Эвакуацию?

— Да. На улицы.

— Пойти на ликвидацию приютов?

157
Вопрос остался без ответа. Офицеры связи вышли, последними поездами еще можно было успеть добраться до приютов и начать подготовку.

— Я вот все слушаю вас, братья мои язычники, и не приемлю вашу позицию. Детей увести надо, тут спорить не о чем, но более ничего конструктивного в ваших рассуждениях нет. Запись совещания у Джольфа вы слышали, Дин где-то умудрился достать пленку, и мы знаем, что наши враги объединяют свои силы. Война! И врагов надо бить поодиночке — это азбука. Я беру на себя Джольфа-четвертого и надеюсь, он станет последним. — Олле потрогал шрам на подбородке. — Мы у него в долгу, а долг платежом красен, не так ли, Гром?

Пес застучал хвостом, оскалился. На него смотрели с опаской: в голове не укладывалось, что этот чудо-зверь вполне ручной.

— Олле прав. Не далее как вчера пророк и генерал обсуждали детали переворота, сейчас события будут развиваться все более быстрыми темпами. И я согласен, надо ударить по притону Джольфа, это просто необходимо, это давно надо было сделать, от него вся Джанатия в страхе. Пока цело это бандитское гнездо, каждый день можно ждать провокации. Надо действовать крупными силами.

— Не надо крупными, Дин, — Олле улыбнулся. — Ты, я и Гром — это уже трое. Еще двух я подберу сам. Сколько их там в замке, меньше сотни. Ерунда. Что совершенно неотлагательно, так это ликвидация периферийных филиалов синдиката. Этим займитесь! И еще. Необходимо серьезное, очень серьезное предупреждение против дальнейших провокаций. Такое, чтобы надолго отбило желание взрывать теплицы или травить нас хлором. Исходите из того, что мы имеем доступ к подземным энергомагистралям...

Ночью, когда Олле лежал на своей сиротской надувашке, к нему в каморку зашел Дин. Пес разрешил ему потрогать себя.

— Удивительное ощущение — касаться собаки, — Дин вздохнул.

— Вы пришли, чтобы сказать мне об этом?

— Я пришел спросить, кто будут эти четвертый и пятый.

— Один из них тот, кто дал вам пленку с записью совещания у Джольфа.

— Нет! Ему нельзя.

Олле помолчал, осмысливая новость. Нури все можно, значит, пленка не от Нури. Значит, Дин о Нури не знает, значит, Нури сумел связаться с Норманом, которому нельзя и который не может не иметь связи с армией Авроры.

— Конечно, — сказал Олле. — Норману Бекету пока нельзя.

Они осторожно поулыбались друг другу. И тени недоверия не было в их улыбках — за время совместной работы чувство взаимной симпатии лишь окрепло. Просто, будучи человеком сдержанным, Олле ничего не рассказывал ни о Нури, ни о Хогарде. Дин, возглавляя разведку армии Авроры, был профессионально скрытен. Разговор о Нормане развития не получил, Олле только заверил Дина, что он разочарован не будет...

Нури предчувствовал наступление перемен в своей жизни, он все чего-то ждал, ждал, полагая свою миссию выполненной. Он сделал все, что мог, и надеялся, что это понимает Норман, который больше не подавал о себе вестей. Ежедневные разговоры с Хогардом становились все короче, Хогард сообщал о событиях дня, о том, что в воздухе носится что-то неопределенное и все ждут перемен к худшему, видимо, подготовка к перевороту заканчивается. Положение становится все более напряженным. На следующий же день после уничтожения гидропонных теплиц боевики армии Авроры захватили подстанцию и удерживали ее более часа, на это время столица была оставлена без энергии. Что творилось в городе, представить невозможно... Почти все они погибли, но армия Авроры получила возможность заявить, что более не потерпит провокаций — от кого бы они ни исходили. И пусть подземелье оставят в покое. Правительство вынуждено было дать обещание. Что касается Нури, то ему надо сидеть спокойно и ждать. И поддерживать связь с кибером Ферро, вдруг еще что-нибудь ценное будет.

Нури поддерживал, копил текущие сведения о деятельности пророка на случай возможной связи с Норманом. Боясь расслабиться, установил для себя жесткий режим физических нагрузок, испытывая неудобство от невозможности заниматься бегом. После наступления сумерек он шел к язычникам на берег реки.

Уступая давнишнему своему желанию разобраться в сути язычества, Нури присаживался неподалеку от молящихся, слушал реквиемы. Скорбные мелодии, утихая в одном месте, возникали в другом, эта печальная эстафета заканчивалась сама собою после полуночи. Река мерцала в ночи длинными неясными огнями, на горизонте светился воздух над бесконечным мегалополисом и вспыхивали в небе изречения пророка, рекламы, призывы и лозунги, рисуемые лучами лазеров на аэрозольных туманах. Этот ночной пейзаж и мелодии порождали в воображении Нури странные образы, гнетущее ощущение полного отрыва от природы. Для него близким

и привычным был голос леса, и потому здесь, на зловонном берегу, будни ИРП вспоминались как ослепительное невозможное счастье. И Нури тихо рычал сквозь зубы от ярости и жалости, разглядывая бездомных бедолаг-язычников, коротающих время вокруг фонаря. К нему привыкли, к этому обеспеченному из коттеджа, который не скупясь жертвовал на инвентарь для чистильщиков, на кислород для умирающих, на одежду для нуждающихся.

Вообще-то появление на берегу людей обеспеченных, жителей загородных коттеджей, было привычным для бездомных. Обеспеченные приходили «повыть», давали деньги и старались уйти незамеченными до появления приемышей, собирающих в пользу Джольфа-4 мзду за право ночлега и жизни — беда тем, кому нечем было откупиться. Но Нури был наособицу, его даже ожидали на его привычном месте: туда, где он был, сборщики-приемыши приближаться избегали. Он как бы защищал своим присутствием ближайших язычников от посягательств грабителей.

После молитв с Нури подолгу беседовали наставники, удивляясь наивности и любознательности неофита. Наставники менялись, странные люди с неприветливыми лицами бродяг и мягкими повздками интеллигентов. Нури мог рассматривать их, если ветер дул с моря. Тогда можно было дышать без масок, и язычники говорили и говорили. А Нури жадно слушал, чтобы новые слова заполнили пустоту в сердце и чтобы побороть, приглушить отчаяние, найти в словах прибежище душе. Человек, живущий на помойке и видящий вокруг только кучи мусора, не может остаться нормальным — человек не создан, чтобы жить на помойке. И язычество в Джанатии, думал Нури, это способ сохранить себя, надежда узидеть свет.

Наставники иногда дополняли друг друга, они обращались к разуму слушателя сухими словами, но эмоции прорывались невольно.

— Язычество нельзя назвать религией, как это принято понимать, — говорил один. — Язычество — система этических представлений, определяющих отношение человека к миру, к среде обитания. Говорят, язычество порождено беспомощностью древних перед силами природы. Мы придерживаемся иной точки зрения. Корни язычества в понимании человеком собственного всемогущества: разнуздай он свои силы — ничего живого в мире не останется. Это понимание было интуитивно присуще предкам, и они воплощали его в запреты. Ярчайший пример тому — тотемизм. Если угодно, назовите его культом, верой, заблуждением, а только прикладное значение тотемизма переоценить невозможно. Объяс-

ление того или иного животного запретным для охоты способствовало сохранению данной популяции животных и в целом животного мира. Каждое племя имело свой тотем, тем самым каждому виду животных давались шансы на выживание. Монотеизм снял все запреты. Помните библейское: «Размножайтесь, наполняйте Землю, обладайте ею и владейте над всеми животными и над всею Землею»? За какие-то триста лет — ничтожно малый промежуток времени в истории даже не Земли, а всего лишь человечества, менее чем за двадцать поколений! — освобожденный от ограничений человек-владыка покончил с животным миром на планете. Охота — убийство вынужденное, когда охотой жили, — из источника существования превратилась в развлечение. Риск, которому подвергал себя древний охотник, исчез. Безнаказанное убийство было объявлено благородным занятием. Тотемизм, не имея приложения, ушел из жизни людей. Сейчас это только символ...

Нури слушал и думал, что неистребима память человеческая, как неистребимо стремление к чистоте. И не мог понять, как эти замордованные бедолаги, не имеющие угла, чтобы преклонить голову, ночующие в мусорных кучах на берегу умерщвленной реки, умудрились сохранить в себе знание, находят в себе силы мечтать о будущем, силы противостоять. В себе, только в себе, ибо в Джанати все враждебно разуму и человеку — и негде ему больше черпать силы для надежд...

Из темноты выступил некто дергающийся.

— Можно киберу к фонарику?

— Посиди с нами, устал, наверное, от угловатости? — И для Нури разъяснение: — Местный дурачок. Сейчас много таких, роботам подражают.

И тут второй наставник повел речь, и были его слова непривычны романтику и рационалисту Нури.

— О крайностях хочу сказать. В любой религии крайности порождают фанатизм, а фанатизм требует крови. Нужны ли примеры? Еще в нашем веке велись религиозные войны, я не говорю о средневековье. Язычество — самая гуманная религия в истории человечества, в язычестве нет лицемерия. И крайности здесь вылились в анимизм, первоисточник сказки и поэзии. Анимизм, кстати, присущ детям, убежденным, что звери разговаривают... А вот и Эльта. Ты пришла, Эльта? Спой, Эльта. Золотые строки спой. Человек интересуется, хороший человек. Спой ему, жрица.

Нури не увидел в сумерках ее лица. Хрустальный прозрачный алыт сформировал сначала мелодию, Нури слышал ее вторично, и проникновение свершилось. Затем на мелодию легли слова.

Ты мыслишь, человек. Но разве одному тебе присуща мысль? Она во всем таится... И пусть для чувств твоих неведома граница, твои желанья Вселенной ни к чему.

Рассудок у зверей не погружен во тьму. Есть у цветов душа, готовая раскрыться. В металле тайна спит и хочет пробудиться. Все в мире чувствует. Подвластен ты всему!

Слепой стены страшись, ее косога взгляда. Есть дух в материи: не заставляй его кощунственно служить тому, чему не надо.

В немых созданиях укрылось божество. И как под веком глаз, чье близится рождение, так чистый разум скрыт и в камне, и в растенье.

Слова прошли, мелодия догорела не сразу. А потом Нури воспринял вопрос: — Вы запомнили?

Нури молчал. Вселенский смысл гимна анимистов, который весь — стремление к гармонии, только подчеркивал непреходящий ужас того, что человек сотворил с домом своим.

Нури очнулся от раздумий: браслет Ами-табха на левом запястье упруго сжимался, требуя внимания. Внеурочный вызов?! Нури незаметно удалился. Никто не обернулся, здесь каждый приходил и уходил, когда хотел.

Он поднял руку: на экранчике светились позывные Олле...

Полицейский бронетранспортер был отлично оборудован — водяная пушка, пулемет с запасом магазинов, катапульта-гранатомет. Техники-язычники вместе с Нури многое в нем усовершенствовали. Фильтр снизу гнал столь мощные потоки очищенного воздуха, что даже в открытой кабине можно было обходиться без масок. Вооруженные силы министерства всеобщего успокоения располагали дроботной техникой подавления.

Водитель-центурион гнал машину, преданно поглядывая на веселого Олле и его гигантского пса.

— Ну что, сержант, — Олле положил руку водителю на плечо. — Ударим по этой сволочи? Не боишься?

— С вами нет, генерал.

— И правильно. Пока мы живы — смерти нет. Помрем — нас не будет. Только не генерал я. Лейтенант армии Авроры.

— Генерал. — Дин засмеялся. — А что, Олле? Был же у гладиаторов Спартак-император.

Бронемашину обгоняли лимузины обывателей, судя по эмблемам, это были в основном агнцы божьи. Пророк устраивал очередное действие где-то на окраине. За городом, который, казалось, не имеет конца, посветлело: в ущельях окраинных улиц, образованных стоэтажными коробками жилых ульев, темнело чуть ли не сразу после полудня. Осталось позади безнадежное: «Перемен к луч-

шему не бывает!» Этот излюбленный лозунг официальной пропаганды малиново светился на черном облаке, образованном над ближними теплицами. На обочинах, устрояясь на ночлег, копошились бездомные; использованные респираторы и пластиковые коробки от бесплатного вечернего рациона аккуратной лентой были уложены по обе стороны магистрали — по краям проезжей части. Граждане Джанатии, те, что на обочинах, трогательно заботились о чистоте своего отечества.

Полицейские посты пропускали машину беспрепятственно, патрульные вертолеты пролетали не задерживаясь: бортовой компьютер обеспечивал соответствующий отклик на запросы. По мере удаления от города исчезали бездомные, контроль над магистралью слабел. Мутный солнечный диск был почти у горизонта, когда километрах в двадцати от резиденции Джольфа-4 они свернули в развалины. Здесь был замаскирован орнитоплан Олле. На сиденье его перебрался Нури, положил на колени сверток.

— Как это принято говорить: все, братья мои язычники, я пошел!

С земли ему сотрясающим лаем ответил Гром.

— Теперь гони! — сказал водителю Олле. Они сразу выбрались на шоссе. — Мы в пределах досягаемости радаров, и охрана сейчас увидит нас. И пусть видит, скоро мы исчезнем.

Пустынное в это время шоссе после суеты городских окраин смотрелось непривычно. Кое-где попадались заброшенные многоэтажки, вода давно уже подавалась только в городские дома, в городе же были сосредоточены и основные перерабатывающие предприятия: скученность и теснота в Джанатии считались экономически оправданными. Безлюдье и заброшенность были бы даже приятны Олле, но пейзаж портили необозримые свалки.

— Они станут многолетними источниками сырья, когда мы получим от вас безотходную технологию и бесплатную энергию.

— Как вы сказали, Дин?

— От вас, я сказал. От вас... генерал, иначе зачем вы здесь?

Олле смотрел на дорогу, ту самую, по которой они с Дином несколько месяцев назад, черт, как бежит время, мчались в лимузине Джольфа.

— Нури говорит — мы не должны вмешиваться.

— А дети? — скрипучим голосом сказал Дин.

Олле молчал.

— А отравленная вода? А дышать людям нечем?

Олле молчал.

— Вы не смогли удержаться! И Нури не смог, я же вижу. Да и кто сможет пройти мимо, если ребенка убивают. В этом случае нет и не может быть оправдания невмешательству. Невмешательство вообще выдуманная — античеловечная, антигуманная — позиция. Накорми голодного, помоги болящему, напои жаждущего, будь милосерд — в этом основа жизни. И тот, кто раз отступился от этого, тот потерял себя и себе не простит...

— Я в километре от цели, — голос Нури был деловит и спокоен. — Тут освещенная аллея и хорошо просматривается полянка, полагаю, та самая, где расстреливали пони. Здесь и приземлюсь. Работайте. Сейчас будет много крику.

Экран локатора покрылся рябью, водитель потянулся к верньеру.

— Забудьте про автоматику, сержант. — Дин натянул шлем. То же сделали остальные. Олле посадил перед собой пса и зажал его голову между своими коленями. Они на полном ходу приближались к ребристому участку дороги, охраняемому дюжими приемышами. Олле посмотрел на часы, все шло минута в минуту.

Завидев полицейскую машину, один из приемышей, сняв маску, вышел на середину шоссе и картинно застыл, улыбаясь. Второй, который сидел за панелью боевого лучемета, тоже встал.

И в это мгновение Дин включил сирену. Это был не тот инфразвук, которым пользовалась полиция в городских условиях, чтобы страху нагнать. Многократно усиленный, об этом Нури позаботился заблаговременно, он сминающим ужасом словно сдул приемышей с дороги. Вмонтированные в шлемы поглотители низкой частоты смягчили удар инфразвука для сидящих в машине, но Олле ощутил, как вздрогнул и ошетинился Гром, услышал его вой и еще сильнее сжал голову собаки. Десять секунд работы сирены казались нескончаемыми.

— Страшное оружие, — сказал Дин, когда сирена смолкла. Обезумевшие приемыши успешно преодолевали кучи мусора, не сбавляя темпов на подъемах. — Жаль только, поражает и своих.

Гром вздрагивал под рукой, прижимаясь к Олле. Страх отпустил его не сразу, и пес вздрагивал и нервно встряхивался.

— Полагаю, у Джольфа сейчас тихая паника. Весь технический персонал занят поисками причин выхода электроники из строя. И нас они потеряли из виду.

У знакомых ворот резиденции Джольфа сержант остановил машину, вышел, закричал:

— Два офицера охраны премьеры с ви-

1160
«Аэлита»-89

зито к чистейшему в помыслах по конфиденциальному делу!

Ему долго никто не отвечал, потом на башне между зубцов выглянул подручный.

— Два офицера...

— Слышу, чего орать. Ворота все равно не работают, автоматика сломалась.

— Открой малую дверь!

— Шеф ждет вас?

— Не ждет,— машинально сказал правду сержант.

— Тогда пойду позвоню.— Подручный исчез. Сержант оглянулся на Дина и забарабанил кулаком в малую дверь.

— Пойдем,— сказал Олле.— Пора, пока крикун действует.

Крикун был результатом технической изощренности кибернетика Нури,—технической извращенности, как он сам говорил по этому поводу. Невероятно мощный генератор радиопомех; раз включенный, он работал примерно час, пока длилась химическая реакция в его недрах. Все электронное оборудование в радиусе километра на время действия крикуна выходит из строя, утверждал Нури. Он не преувеличивал: электронная защита резиденции Джольфа-4 и внутренняя связь были парализованы, лазерные пушки обездвижены, изображения на экранах локаторов и инфракрасных приборов ночного видения потеряли смысл...

Нетерпеливый Олле пустил в ход катапульту и вышиб дверь гранатой. Они с Дином ворвались в тамбур. Подручный стоял с аппаратом связи в руке, безуспешно пытаясь соединиться. Он смотрел мимо них и медленно бледнел — он увидел Грома.

— Сержант, работайте.

— Руки назад! — сержант неведомо откуда извлек наручники, поманил к себе подручного, тот повиновался. Сержант надел браслет ему на руку.— Садись сюда.— Он пропустил цепочку через дверную ручку и защелкнул браслет наручников на второй руке. Подручный оказался прикованным к тяжелой двери.

— Готово, генерал!

— Сержант, спросите, сколько их здесь?

Подручный молчал. Дин подошел поближе:

— Если вы не будете отвечать, я попрошу собаку, чтобы она укусила вас.

Гром оскалился. Смертоубийственная гримаса, жуткие клыки на черной морде...

— Сами шеф, анатомы, пять или шесть подручных,— как в бреду зачастил охранник.— Два-три приема, один из них в диспетчерской. Прислуга инженерного обеспечения, дежурные на кислородном заводе. Я точно не знаю...

1641 — Не разбираюсь я, генерал, в этой бандитской иерархии,— сказал сержант.— Извините.

Олле, поднаторевший за время службы у Джольфа, разъяснил:

— Советник — босс какой-либо местной шайки, анатом — из персональной охраны, палач. Подручные — кандидаты в анатомы, нечто вроде личной гвардии. Функционеры — интеллигенты, представляют чистейшего в помыслах в официальных органах, малочисленны. Техника и прислуга — инертная масса, ни во что не вмешиваются.

— Приемьш?

— Начинающий гангстер. Опасен, выслушивается. Что там считать. Сколько есть, все наши будут.

В диспетчерской техник возился с аппаратурой. За пультом скучал приемаш. Сержант поманил его пальцем: на пару слов... Никто из техников даже не поднял головы. Увидев в коридоре пса, приемаш молча протянул руки. Приковать его к двери и заклеить рот пластырем было делом одной минуты. У приемаша были очень выразительные глаза — взор его говорил, что умирать он, ну, никак не хочет, а хочет, наоборот, жить.

На этом эффект внезапности исчерпал себя. Едва они вышли в парк, совсем юный приемаш, шедший по открытой галерее в диспетчерскую, глянул вниз и, узнав Олле, молча кинулся обратно. Догнать его было невозможно, и Дин выстрелил навскидку. Пластиковая пуля шлепнула приемаша ниже спины, он дико взвизгнул и скрылся.

— Сейчас за нами устроят охоту,— виновато сказал Дин.

— Кто за кем,— пожал плечами Олле.— Не убивать же тебе было мальчишку.

Они почти бегом двинулись через парк, миновали поляну с орнитопланом на ней и первое, что затем увидели — подручного, прикованного наружниками к решетке конуса кислородного терминала. Подручный довольно громко мычал через нос, поскольку рот его был заклеен лентой. Пиджак его был разорван, болтались ремешки от выдранной кобуры. Олле, замедлив шаг, обозрел его.

— Не понимаю,— с удовольствием сказал он.— Я точно знаю, что у Нури не могло быть с собой наручников.

Далее на знакомой аллее, обняв руками дерево, стоял еще один подручный, руки его были скованы по ту сторону ствола. Рядом, закатив глаза, валялся третий.

— Святые дриады! — воскликнул Олле.— У меня в помыслах личные счеты с чистейшим в помыслах. Я бы не хотел, чтобы Нури, не к ночи будь сказано, дорвался до него раньше меня.

— Там еще один, а больше мне не встретились,— Нури сидел неподалеку на длинной скамейке и гладил Грома, пистолеты лежали по обе стороны от него.— Я жду вас уже четверть часа и ждал бы еще. Дышите глубже, какой здесь воздух! И бабочки под фонарями. О Мардук, Перун, Озирис, сколько нескончаемых дней я был лишен этой радости! — И без перехода добавил: — Надо думать, мы уже обнаружены?

Служебное здание, где когда-то допрашивали Олле, было пусто. Они пробежали по нему, не зажигая света, и Гром ни разу не дал понять, что за очередными дверями могут быть люди. Дин пробормотал, что теперь можно не бояться удара в спину... и быстрее ко дворцу.

Громада дворца — они приблизились к нему короткими перебежками — постепенно обретала детали, в сумеречной серости угадывалась рельефность фриз. Ни полосы света, ни звука. Но когда на фоне черной листвы живой изгороди возник силуэт фантома, от колонн прозвенела автоматная очередь, а в стороне еще одна. Дин убрал фантом-силуэты.

— Этих я сейчас,— сказал Олле.— Ваша забота вовремя включить проектор, когда анатом засрет.

Олле и пес неслышно слились с кустами, а Дин прижал к щеке прицел проектора. Услышав, как в напряженной тишине внезапно рыкнул Гром и по-дурному возопил анатом, Нури вздрогнул и засмеялся. Уже неделю, с того самого дня, он пребывал в состоянии восторженной приподнятости — все было хорошо, все было очень хорошо, Олле нашелся, Гром жив, и воины Авроры отличные ребята... Дин повел раструбом проектора, в невидимом ультрафиолетовом луче вспыхнул белым светом синтетический костюм дергающегося анатома, два выстрела Олле слились в один — и сразу топот и сложный звук запирающейся двери.

Олле и пес вычленились из темноты. Рядом с ними стонал анатом, руки его болтались.

— Второй успел удрать. Сейчас они будут бросать гранаты.

Частые взрывы окутали ступени дворца. Их оранжевые вспышки на миг высвечивали основания рифленых колонн.

— Феерическое зрелище,— сказал Дин.— Но с этим что делать? Зачем ты его вообще сюда притащил?

— Он сам. Понимает. Сейчас от него там, на ступенях, и пепла бы не осталось. Пусть убирается, куда хочет, я ему предплечья отшиб. И нервное потрясение: Гром рывкнул над ухом.

— Все в порядке,— сказал Нури.— Ползем дальше.

Теперь, когда темп был потерян, штурм главного входа не имел смысла. Оставив безразличного ко всему анатома, они кинулись к ближайшему служебному входу, одному из многих. Такие входы охранялись системой «ухо-глаз». По сути, это была не охрана, а контроль, бессмысленный в повседневном обиходе. Джольф-4, как и предшествующие ему Джольфы, в деле охраны резиденции почти полностью полагался на автоматику: идея крикуна в среде джанатийских электронщиков даже не обсуждалась. Парализованная теперь автоматика лишила Джольфа-4 привычной защиты, блокировка не работала. Вход оказался открытым, коридор-тоннель пустым, и только вскрикнул кто-то в боковом ответвлении, когда они бежали по длинному и плохо освещенному тоннелю. Несколько переходов и лестничных маршей — дорога была знакома Дину и Олле — вывели их в вестибюль, от которого начиналась парадная часть дворца. Из-за узорчатых дверей доносились взрывы гранат.

— Нури, уйми идиота, имущество портит,— Олле кивнул на узкую лестницу, и Нури взбежал по ней. Здесь, внутри балочного перекрытия, подпираемого колоннами главного входа, было вмонтировано помещение с телеаппаратурой. Камеры через люки смотрели в парк и вниз, на ступени входа.

Идиот был не один. Двое подручных непрерывно доставали из ящиков небольшие, с куриное яйцо, гранаты и опускали их в отверстия люков. Этим делом они были всецело заняты, пиджаки их висели на спинках стульев, портупеи с кобурами под мышками опоясывали потные рубашки. Валялись пустые ящики, а полные стояли штабелями у стены, и Нури подивился неисчерпаемости запаса гранат. В помещении сладко пахло эйфоритом.

— Ладно, парни, кончайте! — Подручные повернули головы. Одинаковые лица, у каждого во рту слюнявая сигарета.— Внизу давно никого нет. Так что давайте, лапы кверху и к стене!

Подручные посмотрели на пистолеты в руках Нури и одинаковыми движениями потянулись к кобурам. Их затуманенные эйфоритом мозги действовали медленно, но сработал условный рефлекс: бей, хватай, стреляй!

Нури выстрелил по кобурам с обеих рук. Это были боевые заряды, не пластиковые пули, которыми пользовался Олле. Искусство стрелять не целясь их обучили при подготовке к забросу: пуля всегда следует по той линии, которую ты мысленно провел между стволом пистолета и целью, будь уверен и не промахнешься...

— Я же прошу, к стене!

Страшное дело одурманенный наркотиком дурак. Обезоруженные, они кинулись на него одновременно, и Нури едва успел бросить пистолеты — стрелять в людей он не научился — и принять второго на удар. От первого он отклонился, тот по инерции скатился вниз и остался лежать недвижим. Гром обнюхал его, поморщился и отошел. На морде его было написано недоумение.

Второй, сопящий и мокрый после удара в скулу на скорую руку, навалился на Нури и словно прилип к нему, не давая возможности действовать. Нури несколько секунд возился с ним, пока не удалось вырваться и провести прием. Подручный загремел по лестнице. Этот прием не числился в учебниках, но Нури почувствовал глубокое удовлетворение достигнутым результатом. Кратковременная легкая боль в правой стопе навевала ощущение чего-то древнего и настоящего.

— Семь и восемь, — сосчитал сержант, связывая подручных спина к спине.

— Не нравится мне это! — Олле следил, как Гром обнюхивал двери служебных входов в вестибюле. — Так мы до морковкина загонья провозимся. Где все? Чтоб разом!

— Внутри замка организованного сопротивления не будет, — Дин набивал карманы гранатами, Нури приволок сверху целый ящик. — Убийство, поджог — в этом они доки, но сражаться не умеют и серьезного отпора своим злодеяниям не выносят. Защита у Джольфа наружная и, по сути, от своих, больше ему никто не угрожает.

Они кинулись через анфиладу парадных комнат. С той стороны овального зала разом загрели несколько автоматов, и сержант, вбежавший первым, упал. Дин из-за колонны швырнул раз за разом несколько гранат.

— Даешь чистейшего! — Олле броском пересек зал. На цветном паркете валялся покаленный взрывом подручный, второй, поникнув головой, обнимал мраморную Венеру. — Где Джольф? — Олле схватил его за подбородок, повернул к себе, подручный закатил глаза. Олле услышал убегающие шаги, зарычал: — Вперед, Гром!

Два анатома бежали по переходу, ведущему в покои Джольфа мимо литых скульптур серии «Спазм», уродовавших эстетику голых стен. Олле и его пес догоняли их с устрашающим ревом и выстрелами. Знакомая до деталей двустворчатая дверь в приемную перед кабинетом Джольфа, пропустив анатомов, не успела закрыться, Олле и Гром ворвались в приемную буквально на плечах беглецов. Их уже ждали.

В учебном бою нинзя Олле в броске поражал три точки одновременно. Здесь он пре-

162) взошел себя — первые от дверей четыре анатома были выведены из строя за то самое мгновение, которого им не хватило для выстрела. Никто из них не успел упасть, когда Олле, стреляя с обеих рук, обезоружил еще двоих. Он очень спешил, он боялся, что начнут стрелять в собаку... С восторженным ревом Гром опрокинул того из анатомов, что последним вбежал перед ними в приемную, и завертелся по комнате черным вихрем, предупреждая даже попытку двинуться.

Олле отбросил разряженные пистолеты, коснулся ботинком лежащего начальника охраны.

— Ты сам встанешь, Эдвард? Или хочешь, чтобы мой пес помог тебе?

Анатом, гора мышц, поднялся с неожиданной легкостью. Удар Олле, нокаутирующий других, не имел для него серьезных последствий, хотя и сбил с ног. Он стоял, пригнувшись, но и при этом был под два метра. Кожа на его голове двигалась вместе с волосами. Олле тронул шрам на подбородке, усмехнулся:

— Положишь меня, уйдешь живым. Гром, не вмешиваться, следить.

Анатом рванул, не дожидаясь конца фразы. Его кулак-гиря бил в лицо Олле. Чтобы убить. И прошел рядом, почти коснувшись его... почти. Гигант пролетел мимо и рухнул боком на пол, сбитый ударами в колено спереди и в шею под ушами, нанесенным странным образом сзади.

— Это тебе не связанного казнить, палач!

Анатом захрипел и, вывернувшись, лежа метнул нож. Олле вроде не двинулся: тяжелый нож прошелестел возле уха и вонзился в дубовую створку двери на половину лезвия.

— Святые дриады, чего я не могу, так это бить лежащего!

Гром заскулил, пытаясь поймать взгляд Олле: можно?

— Следи, — засмеялся Олле.

Олле был весь в азарте боя. По своему характеру он в принципе не способен был причинять боль даже тем животным, которых отлавливал для ИРП, но сейчас ощущал сладкое чувство мести — и оно не казалось ему недопустимым или противоречащим морали. Он бил воплощенное зло, ибо что значил гангстер Джольф без анатома Эдварда? Исчезающее малая величина.

Он смотрел, как поднимается Эдвард, и отстраненно вспоминал старую, уже забытую на Земле и по крупичам восстановленную специально для него, Нури и Хогарда науку рукопашного боя. Не того примитивного каратэ, которым хвастались подручные. Анатом! В свите чистейшего в помыслах анатом потому и назывался так, что владел методами

причинения страдания, знал, куда давить, чтобы жертва была на пределе потери сознания от болевого шока, знал, куда бить, чтобы выключить сознание на время или навсегда.

— Один раз достать! — Эдвард затряс головой, глаза его утонули в нависших веках.

— Давай! У тебя фэйс еще не тронут.

Олле уклонился от кулака, сделал шаг навстречу и неуловимым ударом ороговевшей ладони рассек анатому подбородок. Он двигался втрое быстрее Эдварда, и массивное тело охранника моментами казалось ему почти неподвижным.

— Ты ведь знаешь, куда бить, ударь! — Сминая железными пальцами плечо бандита, Олле усилил его движение, не позволяя прекратить удар, и огромный кулак на выпрямленной руке, как таран, ударил в стену и проломил ее. Секунду анатом рассматривал раздробленные фаланги пальцев, кровь с подбородка капала на пол.

— Больно! — удивленно сказал он. — Ой, больно!

Олле знал, где находится центр координации движений, и знал, как достать его — он ударил.

Нури возник в дверях, стряхивая с себя штукатурку. Он охватил взглядом поле сражения и остался доволен. Эдвард, махая уцелевшей левой, помраченно двигался рывками по кругу, пока не рухнул, сотрясая мебель. Гром наступил ему на живот, заглянул в глаза, и анатом тонко заверещал.

— Цэ, сожалею, я задержался, пока Дин искал врача. Сержант надолго вышел из строя, отличный парень! — переступая через лежащих и стонущих, Нури подошел к двери в кабинет Джольфа, надавил, потрогал ручку. — Надо взрывать.

— Обойдемся.

Олле приволок «Спазм», центнер чугунной отливки, не имеющей художественной ценности. Между собой анатомы называли эту скульптуру «Предмет с дыркой». Действительно, «Спазм» имел то ли в конце, то ли в начале удобную для хватания дыру.

— Я только теперь понял, зачем она нужна! — Олле, держа под мышкой предмет с дыркой, разбежался и трахнул им по замку. Двери распахнулись.

Кабинет Джольфа был пуст. Пусто было и в прилегающих покоях. Олле откинул занавесь, скрывающую двери лифта, послал вызов, услышал глухой взрыв вверху шахты и шум падения кабины.

— У него на крыше всегда дежурит вертолет с пилотом. Ну да куда он не денется, автоматика аппарата не работает.

— Уйдет он, Олле! Крикун уже иссяк.

— Этого нельзя допустить! У Джольфа на

116 | побережье запасное убежище. Если он уйдет, наша диверсия потеряет смысл. Джольф сразу восстановит синдикат!

Последнюю фразу Олле произнес уже на бегу. Громадными прыжками, хватаясь за ворота за стены и колонны, он несся в парк, где на поляне лежал орнитоплан.

— Бесплезно! — Нури подбежал, когда Олле уже был в седле, и помог ему застегнуть браслеты. — Против вертолета эта птица бессильна. Жаль, не увидели...

Аппарат задрожал, ему передавалось состояние пилота. Олле спрятал ладони в оперении, поднял оба крыла вверх, и они сомкнулись у него над головой.

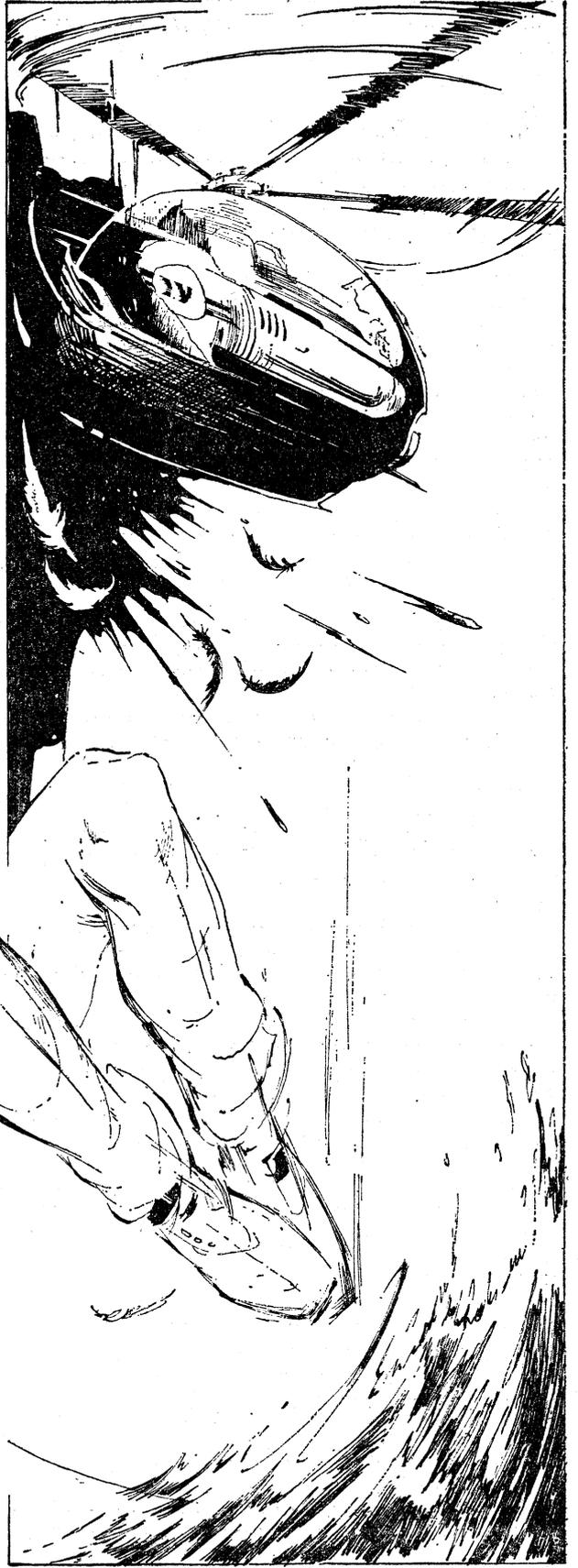
— Святые дриады, если не я, то кто! — В два взмаха он поднял машину в воздух. Завыл, захлебнулся воем Гром. Сверху донесся крик Олле: — Утешься, Гром, малыш. Пока мы живы, смерти нет!

Олле набирал высоту, усиливая взмахи своей силой, и она казалась ему неисчерпаемой: выше, выше! Только тогда он сможет спорить с вертолетом — в падении, в полетепикировании с почти сложенными крыльями. Вертолет он увидел неожиданно в двухстах метрах ниже себя. Джольф, видимо, пытаясь оценить обстановку, сделал круг над дворцом и пошел в сторону океана. Олле забирался все выше, понимая, что вот-вот будет замечен, ибо Аврора высветила его первыми лучами. Встречный бриз от океана замедлял скорость, но облегчал подъем. Олле следовал за вертолетом вдоль побережья, угадываемого по белеющей полосе прибоя; дворец Джольфа и здание кислородного завода скрылись за горизонтом. Олле еще не знал, что он будет делать, его спортивно-прогулочный аппарат имел сугубо мирное назначение и ни в коей мере не был приспособлен к драке. Перейдя в горизонтальный полет и теперь снижаясь, Олле легко следовал за вертолетом параллельным курсом, хорошо видимый. И его заметили.

Вертолет завис и стал набирать высоту, его сферическая пластиковая кабина повернулась вертикальной прорезью к Олле, и ствол пулемета в ней, тонкий и длинный, задвигался. Пока что Олле был под защитой мерцающего диска винта, но при первой возможности, вот сейчас, Джольф срежет его пулеметной очередью или изрубит винтом. Олле планировал точно над винтом, вертолет приближался с устрашающей быстротой. До смертоносного диска оставалось двадцать, потом десять метров. Страха не было, была уверенность, что Джольф не уйдет.

— Пока мы живы...

Олле привстал на сиденье орнитоплана, заставив от страшной боли, вырвал из крыль-



ев обе руки вместе с браслетами и приросшими к ним синтмышцами и толчком выбросил себя из аппарата. В каком-то сумасшедшем движении он еще успел заметить, как рухнул сверху его аппарат, ломая лопасти винта, и как мгновенно синей радугой разлетелись брызги подкрашенной глюкозы — голубой крови его чудесной птицы. Он весь сосредоточился на одной мысли: войти в воду вертикально ногами вниз — и это ему удалось. Опускаясь в черную глубину и замедляя в ней движение, он видел, как неподалеку, быстро теряя очертания, погружался вертолет с разорванной от удара о воду кабиной.

Олле вынырнул, работая ногами, в руках — предплечьях и запястьях — рвущая боль не хотела уходить. Олле видел — руки у него целы, знал, что боль — это реакция на разрушение крыльев, поскольку аппарат на время полета включался в нервную систему пилота. Но боль обездвижила руки, и он не мог даже сбросить браслеты. Он лег на спину, качаясь на малой волне, берег скрывался в туманной дымке, спешить было некуда.

Океан дышал, как живое существо, безмолвное в этом прохладном утре. Семья чистильщиков просыпалась на берегу от утренней росы. Люди вылезали из своих тележек, выпускали воздух из матрасов и, зябко ежась, брели к воде сполоснуть лица. Рокот донесся сверху, и они увидели над океаном черный вертолет и большую птицу над ним, розовую в первых лучах, еще не коснувшихся воды и берега. Они видели, как, сложив крылья, птица сверху ударила по вертолету и сломала ему винт, видели, как вертолет, нелепо махая уцелевшей лопастью, рухнул в океан.

Чистильщики переглянулись и увели свои тележки с пляжа подалее в дюны. Мало ли что может случиться: приедут на своих ревущих машинах, схватят, станут задавать вопросы, угрожать, гнать от берега. Чистильщика всякий обидеть может.

Они видели, как из воды выполз на коленях странный человек, длинные руки его неподвижно висели. Выполз и остался лежать вниз лицом на мокром песке. Они смотрели и тихо обсуждали вопрос: подойти, помочь? Боязно, конечно, но ведь человек...

И внезапно от прибрежных валунов возник огромный черный зверь. Он двигался прыжками на толстых лапах и шумно дышал, вывалив красный язык. Зверь подбежал к лежащему, засуетился, завыл тонко. Человек поднялся на колени, потом на ноги — и они ушли в дюны, человек и зверь.

Нури достал гостевой билет — результат невероятных усилий Хогарда. Билет был за-

166) одно и пропуском в столицу: все магистрали были перекрыты оперативными отрядами лодудменов, их черные машины образовывали непроницаемые дорожные пробки. Движение на дорогах замирало с восьми вечера до шести утра, таков был главный результат объявленного чрезвычайного положения.

Нури спешил. Норман не выходил на связь уже вторую неделю, Олле тоже не давал о себе знать, накопилась целая коробка кассет с записями. Нури подчинился тогда решению штаба армии Авроры остаться на связи с Ферро, но сейчас это решение казалось ему неоправданным, а привлечение его к диверсии против Джольфа-последнего смотрелось как некая уступка его темпераменту. А ведь Нури и просил всего-то разрешения остаться в резиденции Джольфа, превращенной язычниками в детский приют. Смешанный отряд лодудменов и полиции пытался захватить резиденцию, но был наголову разгромлен войсками армии Авроры. Нури участвовал в обороне резиденции и кислородного завода как консультант-кибернетик, не более того. И он был вынужден сразу вернуться к себе, как только угроза захвата миновала...

Пророк Джон, как узнал Нури из сообщения киберера Ферро, закончил подготовку к перевороту и не сомневался в успехе. Это ощущалось и в наглой самоуверенности агнцев божьих, проверявших документы на дорогах, и в безлюдности притихших в предчувствии еще горшей беды городков, мимо которых мчался лимузин Нури, и в той лихорадочной спешке, с которой правительство издавало законы. Закон об организации приходов на предприятиях взамен профсоюзов — в каждом священник из полицейских и киберсекретарь; закон о принятии присяги на верность фирме; закон, объявляющий веру в Великого Кибера государственной религией; закон, объявляющий язычество ересью, караемой заключением в концлагерь на срок, достаточный для обращения в веру истинную. Правительство объявило было, что замурует бездействующие линии метро, но это решение после эпизода с отключением электроэнергии пришлось отменить. С концлагерьями тоже не получилось. Это доказывало, что армия Авроры превратилась в силу, способную ограничивать произвол власть имущих. После захвата резиденции Джольфа и одновременных уничтожающих ударов по местным филиалам гангстерский синдикат был разгромлен и потерял значение силы, противостоящей язычеству. Во всяком случае, Джольф-5 на смену четвертому не появился, а с уцелевшими бандитствующими элементами, когда они проявляли себя, справлялись даже обитатели обочин.

Миновав последний пикет лоудменов у въезда в столицу, Нури переключил машину на ручное управление и по вымершим гулким ущельям улиц двинулся к «Фениксу», надеясь застать там Нормана Бекета и отдать, наконец, ему пакет с пленками. Здание мятежного журнала располагалось вдали от центра, по соседству с серыми коробками домов рабочей окраины. Небольшая площадь перед ним была заполнена толпой. Желтые агнцы вперемежку с голубыми лоудменами угрожающе орали, размахивая лучевыми пистолетами.

Нури вышел из машины, на него никто не обратил внимания. Но когда он попытался пробраться через толпу к входу в здание, колоссальный трехметрового роста кибер, по-видимому, основной здесь распорядитель, прогудел что-то теснящимся рядом лоудменам, и Нури был схвачен и вышвырнут на узкую панель. Напрасно он размахивал пропуском и пытался что-то доказывать. Толпе было не до него. Дожили, черт возьми, шахтный кибер, даже не требующий психоналадки, примитивный, как арифмометр, командует людьми!

Встав на сидение своей машины, Нури увидел, как полдюжины агнцев бьют ногами в двери редакции. Он видел, как распахнулись двери и вышли три сменных редактора, люди, известные всей Джанатии. Среди них был Норман Бекет, он возвышался над толпой в своем шлеме и стоял спокойно, положив руки на пояс астронавта. Толпа отхлынула, когда рядом с ним появился Олле.

— Генерал! — слышалось в толпе.

— Ну, — сказал Олле, не повышая голоса. — В чем дело?

Из толпы выдвинулись двое агнцев.

— Мы хотим войти внутрь!

— Так войдите, — Олле не тронулся с места. Агнцы переминались перед ним, оглядывались на толпу.

— Бараны! — сказал Норман. — Примитивные бараны...

Он не договорил, на груди его на мгновение вспыхнула и погасла огненная полоса. То, что случилось вслед за этим, было подобно вихрю. Олле выбросил вперед кулак, и лучевой пистолет, выбитый из рук агнца, взлетел над толпой. И пока агнец, перегнувшись, медленно опускался на асфальт, второй уже летел плашмя в толпу, сбивая передние ряды. Следом, как нож в масло, врезался в толпу Олле, и через минуту площадь опустела. Лишь десятка полтора покалеченных желтыми и голубыми комками ворочались на асфальте. Двое остались на площади — трехметровый кибер и Олле, замерший перед ним в сутулой позе борца. Олле повернул голову,

и Нури увидел его непривычно усталое будничное лицо. Он, видимо, что-то сказал, поэтому что Норман исчез.

— Это ты их привел? — громко, как глухому, растягивая слова, спросил Олле.

— Я здесь главный. Их мне подчинил тот, кто задает программу! — прорычал кибер голосом генерала Баргиса. Он согнул колени и подался корпусом вперед, готовясь к броску.

— А чем ты занимался раньше? — Олле явно не замечал намерений кибера, Нури в отчаянии подумал, что это правильная линия поведения. Нет, правильная — это бежать: автомат может кинуться в любое мгновение, человек не в состоянии противиться натиску полутораториной громадины, нет на Земле такого человека. Нури нащупал под мышкой пистолет, бесполезно, его и гранатой не взять, был бы крикун...

— Раньше я складывал в штабель медные вайербарсы.

— Вот теперь подумай, почему все разбежались. Ты не можешь командовать, ты не умеешь составлять программу. Убирайся!

Робот медленно выпрямился. Он долго молчал, и были слышны стоны поверженных агнцев.

— А что нужно, чтобы составлять программу?

Нури увидел, как появились и стали у входа в редакцию два больших автобуса. Их, видимо, ждали: с десятка сотрудников, торопясь, грузили в машины ящики и связки бумаг.

— Что нужно? — повторил Олле. — Я помогу тебе, робот. Раздели-ка для начала длину окружности на диаметр с точностью до сотого знака. Только не спеши, чтобы я успел проверить.

Помещение редакции опустело, машины скрылись, оставив за собой пыльные смерчи. Олле, переступая через агнцев, вошел в дом, прикрыв за собой двери.

На площади недвижимо стоял робот, выкрикивая цифры квадриллионных долей числа пи, вокруг него снова гуртились агнцы. Он не дошел и до пятидесятого знака, когда на площадь выкатился сферический низкий танк и завис на воздушной подушке. Из середины его вырвался слепящий белый луч и неровным зигзагом пробежал по фасаду здания. Косо, на уровне пояса, перерезанный робот тяжело рухнул на асфальт, послышался треск, и в то же мгновение, словно облитое напалмом, здание вспыхнуло. Танк ворочался на площади, белая нить луча связывала его с горящим домом, и Нури, чувствуя опаляющий жар, тупо думал, что незачем тратить энергию, если дом и так горит, и что, видимо, экипаж танка сейчас дышит эйфоритом. Дико выли увязавшие в жидком асфальте агнцы

и лоддмены. А потом над танком на уровне пятого этажа завис в воздухе Норман, опоясанный бледным сиянием. Он швырнул в танк какой-то большой цилиндр и тут же исчез в клубах дыма.

Взрывная волна сбила Нури с ног, он на коленях вполз в машину, поднял ее над дорогой. Танка на площади не было, вообще ничего не было, кроме мечущегося адского пламени.

Отгнав машину за несколько кварталов, Нури остановился, привел себя в порядок и двинулся к центру. Поскольку не удалось от- дать пленки, а теперь это вообще не имело смысла — наверное, переворот уже начался, — оставалось действовать самому. Он еще надеялся попасть к открытию парламента, но надежда эта почти угасла у первого же виадук: на проезжей части перекачивались циклопические полусферы танков и маячили патрульные лоддмены.

Нури отвел машину назад и нашел стоянку неподалеку от входа в метро. Он протиснулся через молчаливую колышущуюся у эскалаторов толпу, слабо удивился: улицы пусты, а здесь, под землей, не протолкнуться. Ленты двигались почти пустые, к центру с окраин никого не пропускали. Густая цепь агнцев божьих под командой киберов сдерживала толпу. Нури, размахивая пропуском, пролез- таки к старшему киберу — его можно было узнать по эмблеме атома, мерцающей на панцире — и сунул ему карточку. Робот взглянул на символы, отодвинулся, освобождая проход.

Через несколько минут Нури вышел на площади перед зданием парламента. Массивное, но зажатое между титаническими цилиндрами жилых домов, уходящих в низкие мутные облака, оно выглядело старым и тесным. Над крышей парламента сияло: «Грешите! Пророк приемлет вас такими, какие вы есть».

Его остановил патруль агнцев: пропуск? подождите! Ждать пришлось долго: через площадь тянулись колонны, а точнее, компактные гурты агнцев и лоддменов, у каждого возле бедра болтался массивный блик. Нури заметил, что нигде не было видно излюбленного в Джанатии лозунга — «Перемен к лучшему не бывает!». Вместе него появилось звонкое, но абсолютно бессмысленное изречение пророка: «Подлинное равенство — это равенство во грехах».

Агнцы и лоддмены шли не менее получаса. Они пересекали площадь и скрывались в темнеющей пасти тоннеля у основания жилого цилиндра. Нури помнил схему метро и знал, что там находится вход в давно забытую линию, ведущую в рабочие кварталы. Линию открыли, но где останоятся поезда, увозящие смешанную рать, то знают только

диспетчеры армии Авроры. Тут генерал Баргис что-то недоработал и явно лишился значительной части своих боевых отрядов. Нури мельком подумал об этом, рассматривая колонны.

Каждую возглавлял андроид, человекоподобный робот. Походка робота была более плавной, чем у марширующих в рядах — те явно подражали роботам, угловато дергаясь при каждом шаге. Это было трудно, это замедляло движение но они старались с маниакальной настойчивостью. Нури вспомнил слова жреца-хранителя: высшую степень смирения пророк усматривает в подчинении человека машине, а такое подчинение не может не сопровождаться деградацией личности. Нури гасил в себе презрение — ведь тоже люди, хоть и стремящиеся избавиться от человеческого облика. Жрец высказывал спорное на взгляд Нури суждение, что это реакция человека, человеческой психики на разрушение природы: машине не нужна красота, а у человека каменеет душа.

Иногда андроид, не сбиваясь с шага, поворачивал голову назад и начинал размахивать манипуляторами. Откуда-то из его спины вырывалась грохочущая музыка, и тогда агнцы ритмично орали «железный» марш...

Нури все-таки опоздал, и его кресло в гостевой галерее оказалось занятым. Пришлось стоять, и он примостился у барьера. Отсюда хорошо просматривался зал, расходящийся полукруглым амфитеатром от возвышения. Там за длинным столом сидели министры и еще какие-то люди в бронзового цвета костюмах. Этот назойливый цвет преобладал и на скамьях депутатов. С краю возвышалась широкоплечая фигура пророка, кресло рядом с ним пустовало, репрезентант Суинли не явился, как того и следовало ожидать.

Нури оглядел зал, свободных мест не было. На это столь долго рекламируемое заседание прибыли все депутаты.

Премьер-министр — его респектабельная фигура уже виднелась за трибуной — склонился над листками с текстом, но смотрел исподлобья в зал. Он говорил о долге правительства перед страной, о том, что правительство сознает свою ответственность за то несколько необычное решение, которое он будет иметь честь предложить избранныкам и представителям народа.

— Я буду откровенен, господа, я, может быть, буду резок. Общество переживает глубокий кризис, ибо внешние силы не оставляют надежд на перемены в Джанатии. Нам пытаются диктовать, что нам делать в своей стране, как нам вести свое хозяйство. Нам навя-

зывают так называемую экологическую конвенцию. Принять ее — это значит добровольно наложить на себя ограничения в потреблении. Заботясь о благе граждан, правительство отвергает конвенцию. Мы сами кормим, одеваем и одеваем себя, кто хочет — пусть ограничивается, мы в чужих советах не нуждаемся...

Нури слушал. Да, сильный аргумент против экоконтвенции подсказан премьеру пророком...

— Нам говорят, что мы кому-то мешаем, сбрасывая свои отходы в океан. Но мы очищаем свою страну и отходы сбрасываем в свои территориальные воды. Если наши действия кому-то не нравятся, это не наша забота... Я знаю, язычники не разделяют наше мнение, но мы, господа, и не стремимся к единомыслию, мы стремимся к порядку. Чего нам не хватает, так это порядка. Растет хаос в общественной жизни и в экономике Джанатии...

Ну, если он заговорил о порядке, то тут не обойдется без пророка, который вместе с Баргисом, собственно, и провоцирует стремление к порядку...

— Правительство особо отмечает заслуги пророка, его энергичную деятельность, направленную на защиту основ общества торжествующей демократии. Мы все отлично понимаем, в каких сложных условиях работает отец Джон, мы приветствуем новые движения, в которых сплотились истинные патриоты. Когда я думаю о словах пророка нашего, я думаю, не является ли стремление человека удовлетворить потребность в грехе — свою гордыню, жадность, лень, чревоугодие, сластолюбие — главным двигателем прогресса? Но если это так, а это так, то не греховен ли сам прогресс и не карает ли нас господь за грех прогресса? Карает! Карает депрессией, которую мы переживаем. Производительные силы выросли настолько, что предложение во всех сферах производства превышает спрос. Насыщенность промышленности автоматикой привела к тому, что количество незанятого населения превысило все мыслимые пределы. Вот кара за грех прогресса!.. И если мы примем бесплатную технологию, то, я спрашиваю, что останется делать джанатийцу? Мы отклоняем помощь так называемого ассоциированного мира. К этому зовет нас здравый смысл и наша гордость!

Премьер надолго замолчал, ибо последние его слова вызвали одобрительный рев в зале.

— Человек греховен от природы, греховен и несовершенен. Это я отношу и к себе в первую очередь, и к членам возглавляемого мной кабинета.— Премьер-министр стал интимно задумчив.— Мне иногда приходит мысль: а не является ли человеческое несовершенство главной причиной несовершенства

169) нашего общества, причиной войн, революций и неурядиц? Из плохих деталей не собрать хорошей машины! Имея в виду все сказанное, сознавая всю ответственность перед историей, мы приняли единственно возможное решение...

Премьер сделал паузу. Шорох пробежал по залу, желтые и голубые выпрямились, на скамьях оппозиции озабоченно притихли и только телеоператоры по-прежнему перемещались по проходам со своими камерами.

— ...Единственно возможное решение: призвать к управлению государством того, кто полностью свободен от предрассудков, присутствующих нам от рождения, того, кто обладает непогрешимой логикой, железной последовательностью, неограниченными возможностями, чей рассудок не связан традициями, а разум безупречен и чист. От имени правительства я предлагаю вам, избранники народа, всю полноту власти передать в руки достойного...

Словно по команде, вскочили желтые и голубые, с грохотом распахнулись двери, и по главному проходу, ровно топая, замаршировала шеренга агнцев божьих. Премьер тихо просиял, снова стал серьезным и, срывая голос, закричал:

— Таким достойным является Великий Киббер! Да здравствует Железный Диктатор!

Что-то двусложное разом рывкнули агнцы. В наступившей вслед за тем тишине были слышны шаркающие шаги премьера. Он, горбясь, сошел с трибуны, а навстречу ему двигался кибер Ферро. Они поровнялись, оба приземистые и чем-то неуловимо похожие.

И тогда в зале раздался смех. Премьер вздрогнул. Там, слева в первом ряду, откинувшись на спинку кресла, издевательски хохотал сменный редактор «Феникса». Негромким, но слышно было всему залу, срывающимся от смеха голосом он произнес:

— Прохвосты! Ох, прохвосты, нашли-таки фюрера!

— Я арестую вас, Норман Бекет! — взвизгнул премьер.

— Вы с этого должны были начать! Но разве вы не сдали полномочия? Вот только что и на глазах всей страны?

— Проклятый язычник! — бросил, не вставая, генерал Баргис.

Пока агнцы, потев от усердия, выволакивали из зала Нормана, Нури напряженно рассматривал его худощавое лицо с обожженной кожей и отеками от перегрузок глазами.

— Где же право открытой дискуссии? Бойтесь пустить меня на трибуну!

Нормана увели. За столом правительства замешкались, зашептались... Потом пророк Джон отодвинул кресло, направился к три-

буне. Но Ферро, его кибер, движением четырехпалого манипулятора остановил пророка, и голос его загремел в зале. Ну да, он не нуждается в усилителе, вспомнил Нури.

— Люди, вы призвали меня, чтобы я разрешил противоречия, которые вами порождены. — Кибер, кажется, принял игру всерьез. — Гомо фабер, способный создавать мыслящие устройства, оказался не в состоянии построить простейшую схему производства-потребления, хотя критерий оптимальности такой схемы очевиден и вытекает из принципа экономии энергии: потреблять все, что производится, производить не больше, чем нужно для потребления. Тот, кто задает программу, — жест в сторону пророка, — усматривает противоречие в том, что производится больше, чем можно потребить. Нужен ли я для решения столь примитивной задачи? Следует сократить производство. Я это предлагаю, поскольку схема общества по заданной мне программе считается неизменной!..

Тут восприятие событий у Нури раздвоилось. Речь кибера, его однолинейная примитивная логика создавала впечатление какой-то карикатуры на глубокомысленные рассуждения премьера. Но ведь и правительством решения государственного масштаба, судя по результатам, принимаются на столь же убогом уровне мышления. О, Мардук! При таких порядках любой маразматик гением сморится. Сам факт прямой телетрансляции заседания парламента служит иллюстрацией высокомерного пренебрежения власти мнением народным: любое глумление над здравым смыслом допустимо, чего там, примут!

Нет, одновременно думал кибернетик Нури, какие-то необычные выбросы в речи робота наблюдаются, что-то в нем неладно. Нури несчетное число раз имел с Ферро телеконтакты, но видел впервые: кибер как кибер, слегка утрированная внешность, приущая роботам для домашних услуг.

— ...Следует сократить число автоматов, — продолжал кибер, — увеличится занятость...

Ну вот, все становится на свои места: луддизм, чистейший пример формальной логики, неспособной не то что оценить значимость связей, а просто выявить действующие факторы. Это уже было, и даже жрец-хранитель, обсуждая стратегию армии Авроры, высказывал опасения — не есть ли разрушение предприятий язычниками проявление неолуддизма на данном витке истории? Не есть, ответил ему Дин, поскольку язычники не против промышленности и назад в пещеры не зовут, они против самоубийства человечества несовершенной, расточительной и вредоносной технологией производства материальных благ.

(170) — ...Формулирую вывод: противоречие устраняется уменьшением количества машин. Я — машина!

Робот сел на пол, неуловимым движением отделил у себя сначала левую, а потом и правую стопы и осторожно положил их на пол.

В зале и за столом правительства оцепенели. Через секунды на пол легла ось коленного шарнира, шлепнулась бедренная часть ноги. Ферро отвернул кисть манипулятора, крутанул в плечо культю — за ней тянулись цветные жилки проводов.

Наступившую было тишину нарушили вдруг новые звуки: в коридорах дворца явно слышны выстрелы и взрывы гранат.

— Нет! — закричал пророк. — Нет!

— Ах, Джон, отец Джон! Вам же говорили, что мозг Ферро собран из нестандартных элементов и чреват сбоем программы. Не вняли предупреждению, честолюбец! — Норман Бекет стоял в проходе между рядами, за его спиной офицеры армии Авроры квалифицированно и без шума заменяли караулы лодуменов. Сменный редактор «Феникса» поднялся на трибуну, придвинул панель с микрофонами. Лицо его было в крови.

— Пока мы там в кулуарах убеждали многих, что агнца божьего украшает кротость и оружие кроткому ни к чему, вы здесь, кажется, все проблемы успели решить?

Со странным выражением он смотрел, как корчится на полу несчастный кибер.

— Людям нечем дышать, мы пьем отравленную воду. Разрушена сама основа жизни. И никакие софизмы, а они продиктованы властолюбием, личными амбициями или невежеством, не могут оправдать отказ от экологической помощи. — Норман говорил, не повышая голоса. — Мы предлагаем эту помощь принять незамедлительно. На этом условии армия Авроры, командование которой я представляю, прекратит свою деятельность.

Верхняя палуба пятимачтового фрегата, поднятая над волнами на десятиметровую высоту, звенела детскими голосами. Соленый бриз, опережающий паруса, был сладок и опьянял маленьких джанатийцев.

— А если не будет ветра, Нури? Тогда мы остановимся на самой середине океана? Воспитатель Нури, если не будет ветра?

Веерный строй парусных барков и гафельных шхун уходил за далекий горизонт, и Нури думал, что сверху, с высоты полета дирижабля-катамарана, сопровождающего флот, парусники, наверное, кажутся цветами, уроненными на складчатую скатерть океана.

— Ветер будет...



Я беззаветно в памяти храню...

ВЗГЛЯД

Павлику

Один на бесконечном берегу
Ребенок — между камнем и волной.
Сбежал к воде и замер на бегу,
Он смотрит вдалёк

и слушает прибой.

В восторге к сердцу кулачки

прижал —

Он в первый раз от мамы убежал.

Ему еще опека надоест,

А ей всю жизнь нести

нелегкий крест.

Все мирозданье смотрит на него,

Цены ему не ведая пока:

Остер ли глаз, тверда ль его рука?

А он не замечает ничего.

Волна бесечно трется о песок,

Смывая след босых ребячьих ног.

ПЕРВОПРОХОДЕЦ

Б. Н. Е.

Весь в белой пене выброшен баркас
На берег, где лишь чайки да песок.

Расколот компас, и маяк погас,

Свод неба беспощаден и высок.

Устал идти в кильватерном строю,

Решил тропу попробовать свою,

В азарте он себя не поберег

И развернулся рифам поперек.

Он видел за ревущею грядой

Роскошный сад желанья своего,

И вот лежит в полмиле от него,

Оставленный отхлынувшей водой...

Но вслед ему другие корабли

Рискнули. И пробилась. И дошли.

ИЗГОЙ

(Апостол Павел)

Не чую ног, не подымаю глаз,

Мой лоб в крови, одежды —

в клочья.

Хочу просить прощения у вас

За то, что вам не смог помочь я.

А ваши хитроумные жрецы...

Вы отпустите их обедать.

В их очагах румянятся тельцы,

Каких вам сроду не отведали!

А я... Что ж, я вас искренне люблю,

Но вы ведь видите и сами:

Я — не Христос, я вас не накормлю

Пятью хлебами!

Но пусть навверх дорога нелегка,

Поддержкой вам всегда моя рука.

ОДИНОКИЙ РОБОТ

Не чувствует безвольная рука

Другой руки, железной и родной...

Компьютер привезен издалека,

Но у него сегодня выходной.

Он прорешал, не зная неудач,

Три миллиона тридцать пять задач.

Но был два дня

без света весь квартал,

Когда компьютер вдруг затосковал.

Ему бы хотеть да веселиться,

Ведь он познал и радость, и успех.

Ему зазнаться было бы не грех,

А он тоскует —

не с кем поделиться!

Нет! Неприлична роботу тоска —

Энергоемкость слишком велика.

ПУСТЫНЯ

Сквозь пальцы уходящего песка

Не удержать —

сжмдай ладонь до боли...

В рубашках, покорбленных от соли,

Мы восемь дней брели до кишлака.

Мы, как солдаты, выиграли бой.

В грузовике усталые трясемся,

Сведенные причудливой судьбой.

Случайно встретились —

и разоидемся.

И вот, взмахнув приветливо рукой,

Мы друг за другом покидаем кузов.

Ведь, кроме солидарности мужской,

Мы не везли особо ценных грузов.

Водитель! На прощанье погуди —

Мой переулочек виден впереди...

КОНТАКТ

Алле

А память снова выстроила ряд

Полузнакомых промелькнувших

лиц —

Слегка нахальных бронзовых ребят

И в меру подмалеванных девиц.

«Как вам вчера понравилось кино?»

«Погода завтра будет неплохой!»

А я с тревогой думаю одно:

Там что-то есть за этой шелухой!

Бывает же порой — растает лед,

И слышишь сердца учащенный такт...

Так в небо провожают самолет:

«Контакт!» —

и четкий отзыв: «Есть контакт!»

Нас скоро сменят наши малыши...

Как будет там у них насчет души?

ПАМЯТЬ

Д.м. Юденичу

Всех тех, кого уж не вернуть назад,

Я беззаветно в памяти храню.

И не отдам бесценный этот клад

Забвения зловещему огню.

Со мной друзей ушедших голоса

И губ девичьих ласковый изгиб.

Давно б я поскользнулся и погиб,

Когда б не эти строгие глаза!

Нет, наша память — это не музей,

Где свалены обломки старины.

Мы все еще на что-нибудь годны,

Пока мы живы в памяти друзей!

В урочный час, в назначенном году

И я во чью-то память перейду.

СТАРСТЬ

Я лишь с тобою не был одинок.

Я с детства был немного нелюдим.

Тех странных дней взлохмаченный

поток

Осел в душе, как горьковатый дым.

Потом привык нигде не унывать,

За дерзостью застенчивость

скрывать.

Средь тех, с кем мало-мальски

был знаком,

Я слыл весельчаком и остряком.

Твоя улыбка, нежности полна,

Открылась, как подснежник

на снегу,

Но... Я ее припомнить не могу,

И на висках пробилась седина.

К нулю идет мне отведенный срок.

Я лишь с тобою был не одинок.

РУЧЕЙ

Ни в жаркий день;

ни в сумраке ночей

Не перестану думать об одном:

Пусть невелик,

но светел мой ручей,

А ямб мой пятистопен в основном.

Он высветлит, промоет все подряд —

И змеевик, и яшму, и гранат.

Хоть кой-кому не стоит ничего

Ведро помоев выплеснуть в него.

Но то, что он проделает в тиши,

Не может сделать бурная река —

Ведь горсть золотососного песка

В ней не намощь,

сколько ни спеши.

А если вдруг к нему склониться ты,

Он отразит любимые черты.

Друг молодости Чернышевского

Александр
ЛЕЙФЕР

В студенческие годы Николай Чернышевский вел дневник. Он был впервые опубликован через восемьдесят лет после написания — в 1928 году. Первая фраза записи, датированная маем 1848 года, такова: «В конце апреля 1848 года сказал мне Василий Петрович Лободовский, что он женится; невеста — дочь станционного смотрителя...»

И далее на протяжении двух лет имя Лободовского появляется чуть ли не на каждой странице. Чувствуется, что Лободовский был в то время для будущего автора «Что делать?» непререкаемым авторитетом.

Позднее Чернышевский признавался в одном из писем: «...Это человек, которого я люблю от души и уважаю, как никого почти; я его так уважаю, что в разговоре с ним конфужусь за свой ум, чего со мною не бывает в других случаях никогда... Я ставлю его на одну доску с Диккенсом, Ж. Зандом... Лессингом, Фейербахом и с другими немногими...»

Восторженный поклонник Гоголя, бедняк-разночинец Василий Лободовский жаждал революции. «Он, — читаем в дневнике Чернышевского, — сильно говорил о том, как бы можно поднять у нас революцию, и не шутя думает об этом: «Элементы, говорит, есть, ведь поднимаются целыми селами и потом не выдают друг друга, так что приходится наказывать по жребию, только единства нет...»

Имя Лободовского иногда мелькает в работах омских краеведов. В фонде кадетского корпуса, хранящемся в областном госархиве, есть несколько его послужных списков. Последний датирован 1872 годом. Сведения, содержащиеся в этом документе, весьма скупы, но все-таки...

«48 лет от роду» — т. е. на четыре года старше Чернышевского. Служебная канва такова. 1842 год — писец второго разряда Харьковского губернского правления, 1845 — служба в Курском губернском правлении, 1852 — учитель русского языка и словесности во 2-м кадетском корпусе. В 1857 году его переводят в Сибирский кадетский корпус «на ту же должность». Затем последовало повышение — утвержден наставником-наблюдателем «по предмету русского языка».

Василий Петрович был, как выражались в те годы, обременен большим семейством. Дочь станционного смотрителя Надежда Егоровна родила ему восемь сыновей и одну дочь. Больше из послужного списка при всем желании ничего «выжать» нельзя.

В кратком историческом очерке Сибирского кадетского корпуса Лободовскому уделена целая страница. «...оставил по себе память человека, глубоко преданного служебному долгу, строгого и требовательного преподавателя.

Любя свой предмет и веря, что художественные произведения наших писателей — великая сила при воспитании юношества, он широко знакомил воспитанников с образцами классической русской и иностранной литературы. Будучи при этом прекрасным декламатором и отличаясь талантом ораторского искусства, он производил глубокое впечатление на учеников».

А дальше идет предложение, которое явно не соответствует тому торжественно-приподнятому «штилю», которым написан весь «Очерк»: «Впоследствии Василий

Петрович сделался необщительным с товарищами, тяжелым с кадетами и оригиналом в обществе».

«Несмотря, однако, на эти болезненные проявления личности, — спохватываются авторы, — он по своим внутренним убеждениям был высоко идеальным человеком, стремившимся разрешить и осмыслить самые разнообразные вопросы жизни».

Совершенно неожиданно я встретил имя Лободовского в книге Корнея Чуковского «Мастерство Некрасова». К. Чуковский приводит Лободовского как «житейский, бытовой, внелитературный пример... революционизирующего влияния Гоголя... в тот наиболее тяжелый период реакции». А затем Чуковский написал фразу, которая заставила меня провести не один день в библиотеке: «К литературе этот человек (т. е. Лободовский. — А. Л.) не имел никакого касательства, если, впрочем, не считать мемуаров, которые он написал уже в старости».

После долгих поисков на стол легли номера журнала «Русская старина» периода первой русской революции с напечатанными в них «Бытовыми очерками В. П. Лободовского».

Мемуары весьма своеобразны, Лободовский пишет в третьем лице, дав себе новое имя — Савва Саввич Перепелкин, учитель словесности, приехавший из Петербурга в сибирский город.

И вот герой «Бытовых очерков» приступает к преподаванию. Он недоволен тем, что лекции приходится читать в малоприспособленных, невзрачных помещениях, но зато приятно удивлен, что его новые питомцы, в отличие от столичных, более любознательны, восприимчивы и самостоятельны.

Перепелкин добывается, чтобы выписываемые газеты и журналы читали не только высшие начальники корпуса, но и все преподаватели. Он борется против применения розог. Организует литературные вечера для местной интеллигенции. Комментируя «Мертвые души», он цитирует Белинского.

Многие из омских обывателей узнали себя в Коробочках, Чичиковых и других персонажах «Мертвых душ». И после второго литературного вечера кто-то бросил в Перепелкина камень. С этого и начались для него неприятности. Посыпались анонимки, начались сплетни, клевета. Его обвиняют в следовании идеям Канта, представляют на маскараде в виде осла. Травят обучающихся в корпусе его сыновей, и их приходится оттуда забрать.

Растут долги. Развивается болезнь глаз. И травля, травля... Неправильно начисляют прибавки за службу в Сибири, издеваются, узнав, что он решил написать сочинение «Русский Дон Кихот»...

Судя по всему, из Омска Лободовский вынужден был уехать. Когда это произошло? Был ли здесь Лободовский в октябре 1833 года, когда через Омск из Вилуйска в Астрахань провозили Чернышевского? Были ли у старых друзей в течение всех этих лет попытки общения? Куда уехал Лободовский из Омска? Какова его дальнейшая судьба?

Ничего этого мы не знаем.

Здравствуйте, летчик Янковский

Борис ВАЙСБЕРГ

Удивительные выражи вытворяет история. События происходили, кажется, давным-давно, едва ли не в прошлом веке. И люди, связанные с теми событиями, были тебе совершенно не знакомы. Как вдруг узнаешь, что в соседнем доме жила пожилая женщина, с которой ты наверняка встречался на улице, но не обращал внимания...

Елена Викторовна Янковская была полиглотом. В совершенстве владела то ли восемью, то ли десятью языками. Работала она переводчиком в УНИХИМе — Уральском научном институте химии, что в Свердловске. По воспоминаниям сослуживцев, эта одинокая женщина была проста, приветлива, широко образована. На склоне лет специально училась в Уральском политехническом институте, чтобы разбираться в технике.

Часто приходили к ней домой те, кто нуждался в переводах с иностранного. И никому Елена Викторовна не отказывала, ни с кого, между прочим, денег не брала.

Однажды пришел к ней на улицу Уральскую, дом № 68, на Пионерском поселке, молодой человек — Борис Бурдаков, мастер ГПТУ № 25, коллекционер. Он раздобыл авиационные значки с надписью на французском. Ему посоветовали обратиться к старушке-полиглоту. Переведя надписи, Елена Викторовна сказала, что тоже любит авиацию, что у нее был брат — Георгий Викторович Янковский, один из первых российских летчиков. Правда, его забыли. Вот его фотографии. И она разложила перед Бурдаковым десятка два старинных снимков. Попросила зайти в другой раз — она найдет и покажет еще много интересных бумаг, документов, фотографий. А эти может забрать с собой.

Когда Борис Бурдаков пришел в следующий раз, Елены Викторовны уже не было в живых. Квартиру сменяли, хозяева уехали, бумаги куда-то исчезли. Нить оборвалась, не успев завязаться. Правда, остались фотографии, судя по всему — уникальные. Бурдаков показал их мне, мы работаем на одном заводе — турбомоторном.

На одном снимке изображен знаменитый русский авиатор, летчик и конструктор летательных аппаратов

Игорь Иванович Сикорский. В левом нижнем углу его размашистый автограф: «Глубокоуважаемой Флоре Эдуардовне Янковской — от преданного И. Сикорского». Сделан снимок в очень известной фотографической мастерской К. К. Булла на Невском проспекте в Санкт-Петербурге примерно в 1913 году. Подарен матери Елены Викторовны и Георгия Викторовича Янковских.

А вот и сам Г. В. Янковский — выпускник Варшавской летной школы «Авиата». Надписи по-польски. На другой фотографии он же на самолете, и надпись: «Авиатор Янковский, прибывший в Торжок на аэроплане Блерио, 1911 г., июля 12». На третьей он снят вместе с человеком по фамилии Лерхе на автомобиле. На четвертом и нескольких других снимках — авиатор по фамилии Раевский. Наконец фотография, которая, видимо, объединяет их всех. По-моему, это совершенно уникальный документ, поэтому ради интриги отложим ее «на потом»...

Меня очень заинтересовал Янковский. Кто он? Почему так мало о нем известно? Только лишь пото-



БЕЛЫЕ
ПЯТНА
ИСТОРИИ

му (это легко догадаться), что был он близок с Сикорским, а всемирно известный авиаконструктор уехал из России в Америку в 20-х годах? За какую ниточку потянуть?

После первой маленькой информации в городской газете откликнулся инженер УНИХИМа Л. Е. Семенов, сослуживец Е. В. Янковской. Много интересного рассказал Леонид Евгеньевич о Елене Викторовне, умершей в 1972 году в Свердловске. О том, что ходит по городу ее альбом с автографами знаменитых музыкантов, с некоторыми из которых она училась в Московской консерватории: В. Барсовой, Ф. Шаляпина. О ее драме: на ее глазах был расстрелян жених, военный, по-видимому, белый офицер, после чего она потеряла голос и не смогла петь. Интересная судьба, она еще ждет своего исследования, а пока я занимаюсь ее братом.

Свердловский журналист, знаток истории авиации В. Зайцев нашел в книге «Соперники орлов» (авторы Е. Королева и В. Рудник) любопытную фразу о том, что в 1913 году рекорд высоты в 3680 метров установил авиатор Янковский Г. В. Есть ниточка! Все сходится. Потом и я нашел в книге П. Д. Друзя «История воздухоплавания и авиации в России» такие строки: «При испытании самолетов вместе с конструктором (Сикорским.— Б. В.) работали пилоты Г. В. Алехнович, Г. В. Янковский и механик-двигателест В. Панасюк... Биплан № 10, пилотируемый Алехновичем, и моноплан № 11, пилотируемый Янковским, вышли победителями на военном конкурсе аэропланов в 1912 г.»

Значит, это реальная фигура. Запросил Центральный Дом авиации и космонавтики в Москве. Фамилия Янковского у них не значится, ответили, в то время как картотека авиаторов очень подробная, добавили. То есть намекнули, что ничего выдающегося, не теряйте время — если уж у нас нет...

Странно и непонятно! Я позволил себе не согласиться и продолжал поиск. Написал в Торжок Калининской области, в местный музей, приложив фотографию с надписью об этом городе. Да, такое имя им известно, ответили из музея. Этот авиатор был участником первого

перелета Петербург — Москва. Сел на вынужденную в районе Торжка, здесь и был сфотографирован. Этого снимка в музее нет, благодарят за подарок.

Приятно сделать пусть маленькое, но доброе дело. Теперь жители старинного городка увидят в лицо одного из первых русских авиаторов. Кстати, в том же перелете Петербург — Москва участвовал и очень известный летчик С. Уточкин. Он тоже вынужден был приземлиться у Торжка.

Тем временем товарищи, зная о моих поисках, подсказали, что во 2-м издании «Истории воздухоплавания и авиации в России» П. Друзя снова пишется о Янковском. «Вызванный на заседание комиссии (по воздушным кораблям «Илья Муромец». — Б. В.) военный летчик эскадры подпоручик Г. В. Янковский доложил о трудностях управления самолетом «Илья Муромец»... Из-за больших нагрузок на рули давление на штурвал достигало 70—80 килограммов и руль в момент посадки, кроме летчика, тянул также механик или второй пилот».

Так значит, мой герой имел отношение к первому русскому многомоторному самолету! А Центральный Дом авиации и космонавтики пребывает в неведении? Пришлось сообщить туда о моих скромных изысканиях и попросить еще раз тщательно проверить по фондам.

Вспомнилось, что много лет назад с огромным интересом читал книги нашего известного летчика-испытателя Марка Галлая. И было в них много из истории авиации. Но о Янковском там не было. На мой вопрос Галлай очень быстро и четко ответил, что действительно не слышал о таком летчике, но есть у нас историк авиации В. В. Король, живущий в Ленинграде, он знает все, адрес такой-то.

Не теряя времени посылаю Владимиру Васильевичу копии фотографий и прошу помощи. Это был настоящий праздник, ответил Владимир Васильевич. Такого количества и столь редких фотографий он никогда не получал. О Янковском, конечно, знает, разрозненных сведений о нем немало в прессе начала века. По моему примеру Король завел «дело» на Янковского и скоро пришлет мне выписки из печати. А пока сообщает то, что известно.

Родился Георгий Викторович в 1889 году. В 1911 окончил Варшавскую летную школу «Авиата» и получил диплом за № 25 — по аэроплану «Блерно». Его товарищ Максим Германович Лерхе получил диплом за следующим номером 26. Янковский учился в одном из германских политехнических институтов. Заниматься воздухоплаванием начал в Италии. Много летал за границей. Принял участие в Царскосельской

авиационной неделе и стал ее победителем, поднявшись на головокружительно по тем временам высоту — 1100 метров.

...Наконец ЦДАК в Москве прислал уже не отписочный ответ. С некоторым удивлением сообщают, что Янковский внес большой вклад в русскую авиацию. Ученый секретарь пишет: «Г. В. Янковский занимался конструированием самолетов. По его предположению был построен тренировочный аэроплан С-12 с двигателем «Гном» в 80 лошадиных сил, с полетной массой 681 кг. Это был первый самолет русской конструкции, на котором в сентябре 1913 года он выполнил «мертвую петлю» («петля Нестерова»)... Самолет был удачным, строился в небольшой серии (10—12 экземпляров), прослужил в советской авиации в гражданскую войну вплоть до 1922 года. Русскими летчиками М. Г. Лерхе, Г. В. Янковским и итальянцем Ф. Э. Моска, работавшим в России, был построен моноплан ЛЯМ (по начальным буквам конструкторов). Самолет был выполнен очень чисто, отличался прекрасной летучестью, хорошо выполнял виражи...»

Вот как! Первый выполнил «мертвую петлю» на русском самолете! Сентябрь 1913-го, это значит, примерно через месяц после самого Петра Нестерова, исполнившего эту фигуру на аэроплане иностранной конструкции, если не ошибаюсь, на «Ньюпор».

Все чаще фамилия Янковского стала встречаться с добавлением слов «первый» или «один из первых». Интереснейшие данные прислал В. В. Король. Все газеты и журналы начала века были им просмотрены. И почти везде нашел он упоминания о летчиках, в том числе и о нашем герое.

О полетах Георгия Викторовича пишут «Воздушный справочник» и «Искры», «Кронштадтский вестник» и «Утро России», «Петербургская газета» и журнал «Нива».

На способного, подающего большие надежды авиатора обратил внимание сам Игорь Иванович Сикорский, восходящая звезда мирового самолетостроения. Он пригласил Янковского на авиационный завод и предложил стать помощником и летчиком-испытателем. И Янковский летал на первых в мире многомоторных самолетах, установив ряд рекордов. Его эволюциями в воздухе восхищались не только соотечественники, но и иностранцы. Прославленный француз Адольф Перу, у которого Петр Нестеров выиграл первенство в выполнении «мертвой петли», воскликнул: «Я пришел в восторг от искусства Янковского, он проделал петли чисто и красиво».

Георгию Викторовичу довелось участвовать в первой мировой войне. Журнал «Нива» за 1916 год напеча-

тал снимок летчика у боевого самолета «Ньюпор». Надпись гласит: «Охотник (так называли добровольцев. — Б. В.) унтер-офицерского звания Янковский за отличие в делах произведенный в прапорщики инженерных войск». Наконец в «Истории воздухоплавания и авиации в России» сказано, что «Янковский за свои воздушные победы получил все существовавшие тогда награды».

На этом следы одного из славных пионеров русской и шире — мировой авиации обрываются. Более чем через полвека обнаружилось они в виде фотографий у сестры Янковского в Свердловске. Но что с ним было после первой мировой войны? Как закончились его дни? Инженер УНИХИМа Л. Е. Семенов, бывавший дома у Елены Викторовны, вспоминает, что на ее столе стоял календарь, открытый на 1937 году. Быть может, эта память о трагическом годе советской истории как-то связана с судьбой брата? Пока неизвестно.

Теперь самое время рассказать о той, интригующей фотографии, сохранившейся от Е. В. Янковской. На ней снята большая группа летчиков у огромного самолета, на носу которого отчетливо видны буквы Р.Б.В.З. — Русско-Балтийский вагонный завод. На этом заводе изготавливались первые русские многомоторные аэропланы. В центре фотографии, в шинели — император Николай II, слева от него — конструктор самолета И. И. Сикорский, левее сидит, в шляме, Янковский. Комментарий В. В. Короля: «На снимке запечатлен прилет самолета «Русский витязь» в Красное Село 25 июля 1913 года».

Между прочим так совпало, что в те дни, когда я собирал материал о Янковском, повторяли фильм «Поэма о крыльях».

Есть в фильме эпизод, помните: помощник Сикорского гибнет в аварии. Уж не прообраз ли это Янковского, бывшего так же помощником? Загадка...

Между тем в последние дни поисками следов Янковского по уральским, а затем и ленинградским материалам заинтересовались польские товарищи из газеты «Жолнеж волности» — «Солдат свободы». Поскольку Георгий Викторович был, очевидно, поляком, окончил Варшавскую летную школу. Быть может, эта ниточка приведет к интересным результатам? Есть большая надежда, что теперь, когда имя одного из первых российских авиаторов вырвано из забвения, кто-нибудь откликнется. Могут найтись и те исчезнувшие бумаги сестры летчика, что находились в Свердловске в двух шагах от моего дома. Все это помогло бы достойно встретить юбилей выдающегося летчика. В этом году — сто лет со дня его рождения.



КОРИАНДР, ЛАГЕНАРИЯ, БАКЛАЖАНЫ И ДРУГИЕ

В нашей невеликой Семеновке каждый мальчишка хорошо знал, где и что растет на колхозных полях. Да и как было того не знать. Глянень в окошко — прямо за дорогой картофельная ботва зелеными строчками уходит вдаль к двухскатной, крытой соломою риге на току. За нею подсолнухи-великаны стеною стоят, золотыми шляпками туда-сюда кланяются. Поднимешься на взгорок за прудом — перед тобою вся земля разноцветными полосами растилается: там просо красноватое, тут палевая рожь, справа бурая гречиха в белых брызгах цветков, рядом темно-зеленые конопля.

Как было не знать, если на этих полях наше лето проходит. Знали запахи каждого растения в поле. И когда одним знойным полднем со взгорка к пруду потек густой, приторно-отгалкивающий дух какого-то растения, мы тотчас же сообразили: там, где росла конопля, посеяно что-то новое.

От взрослых услышали: это кориандр, масляное растение. Из его семян, как изо льна, конопля и подсолнуха, выжимают масло, только не пищевое, а техническое. Культура ценная, и колхозу выращивать ее очень выгодно. А мой отец-пчеловод добавил к этому: кориандр, по народному кишнец, хороший медонос, и пчелки охотно летят на то поле за нектаром.

Вот так я познакомился с кориандром на Тамбовщине, а через полвека совсем неожиданно встретился с ним на далеком Урале, но уже в ином его качестве.

...Жители Семеновки, как жители других селений по всей Тамбовщине, Воронежскому краю и Подонью, выращивали в изобилии всем нам хорошо известные красные помидоры. Но называли их не помидорами и не томатами, а баклажанами. Настоящие же темно-фиолетовые баклажаны именовали синенькими баклажанами или просто синенькими, а еще демьянками. Слово «помидоры» знали, но в обиходе его не употребляли. В Прикамье же и на Урале в те годы помидоры звались томатами. О настоящих баклажанах тут знали столько же, сколько о тропических бананах или ананасах. Тогда-то, на Каме, и задумался я над этой словесной головоломкой, а ответ на-

шел, когда занялся историей новых для этих мест овощей...

Рожь, овес, капуста, картофель, яблони и многие другие культурные пищевые растения пришли на уральскую землю в отдаленном прошлом. Но это движение не приостановилось и в наши дни. Одна из торных дорог, по которой растения-новоселы идут на Урал, — приусадебное огородничество и коллективное садоводство.

В Свердловске уже три с половиною десятка лет занимаются сортоиспытанием, акклиматизацией и выведением новых сортов овощей и фруктов супруги Смирновы, Георгий Алексеевич и Тамара Александровна. По профессии они геологи. В их походные рюкзаки нередко попадали и консервные банки с наклейкой «Икра баклажанная». Приятное, освежающее блюдо. В послевоенные годы стали завозить на Урал и свежие баклажаны. Смирновы готовили из них икру и другие вкусные, питательные и даже целебные блюда. Тогда-то и возникла мысль попытаться вырастить баклажаны на своем участке в коллективном саду. Не один год прошел в поисках семян. Дело в том, что на продажу и в пищу баклажаны снимают с куста в так называемой технической спелости, проще говоря, незрелыми. Точно так же, как и огурцы. Их зерна для проращивания не годятся.

В 1971 году пришла посылка из Тирасполя от молдавских селекционеров. В ней были семена скороспелого сорта Деликатес 163.

На рубеже XVII и XVIII веков почти одновременно с картофелем баклажаны проникли в Россию по трем дорогам: из Средней Азии через Астрахань, из Персии через Закавказье, из Турции через Болгарию и Крым.

Во второй половине XVIII века в Таврической губернии — в Крыму и на юге Украины — баклажаны разводили повсеместно, когда их родственники по ботаническому семейству пасленовых — помидоры здесь только что появились. Первое время помидоры подобно баклажанам варили, жарили, фаршировали. Тогда-то и прозвали их здесь баклажанами. Это слово потянулось за помидорами и к северу, вверх по Дону, в Центральное Черноземье. В продвижении на север и на восток, к Уралу,

помидоры обогнали своих старших теплолюбивых собратьев.

Опыты по выращиванию помидоров проводились в Екатеринбурге еще в 1887 году. Предположительно в оранжерее екатеринбургского садовода-экспериментатора Д. И. Лобанова. В начале 900-х годов помидоры пытались разводить на Верхне-Уфалейском заводе, а в 1907 году — в Челябинске.

А баклажаны добрались до Урала только в середине XX века. В 50-е годы их возделывали в Копейском и Харинском совхозах под Челябинском и на опытных участках Пермского сельскохозяйственного института. Ныне в любительской культуре они довольно обычны на Урале. Только у Смирновых вызревает их 15 сортов.

...Весною 1978 года на рынке Алма-Аты супруги Смирновы увидели тот диковинный овощ, о котором читали в свердловской городской газете. Продавцы называли его японским кабачком. Удивительно это растение вот чем. На грядке отржут от плода кусочек к обеду, а плод как ни в чем не бывало растет себе дальше, вытягивается до двух метров в длину и набирает весу до двух пудов. Прямо-таки дедова репка из сказки наяву. Буквально с одного семечка, привезенного из Алма-Аты, начался этот кабачок в огороде Смирновых.

С названием этого овоща вышла та же головоломка, что и с помидорами. В литературе он именуется горлянойкой и еще тыквой посудной. У ботаников — лагенарией. Относится к семейству тыквенных, куда входят тыква обыкновенная, кабачки, огурцы, дыни, арбузы...

Более семи тысяч лет до нашей эры в тропических странах Азии люди каменного века уже выращивали лагенарию возле своих хижин. Из ее плодов бутылочной и кувшиновидной формы делали посуду для хранения воды, а длинноплодную употребляли в пищу. В древности разводили лагенарию и в Средней Азии. Отсюда она попала в Закавказье и в Причерноморье.

По внешнему виду ее съедобные плоды похожи на кабачок и на огурец в сильно увеличенном виде. Да и в пищу готовятся так же. Поэтому на новом месте лагенарию и наре-

кали или кабачком или огурцом, но с добавлением, указывающим на ее восточное происхождение. Вот так и родился в Казахстане «японский», а на Урале «вьетнамский» кабачок, а в иных местах — «индийский» огурец.

...В обширном павильоне областной сельскохозяйственной выставки перед объективом телекамеры в ярком свете прожекторов молодой мужчина рассказывал о гигантской лагенарии, которую держал в руках, и о других диковинных овощах. Звучали названия одно дивнее другого: лук-слизун, базилик, эстрагон, мелисса!.. И тут услышал я то далекое, но все еще не забытое: кориандр! Оказывается, в совхозе его выращивают как пряную столовую зелень. Агроном-овощевод совхоза «Ревдинский» Владимир Григорьевич Сузан предложил мне поехать в Ревду, чтобы посмотреть все на месте...

С незапамятных времен в Древнем Египте, в странах Средиземноморья, в Средней Азии и в Закавказье разводят кориандр как масличное, лекарственное и овощное растение. В пищу употребляют зеленые листья, которые срывают до стрелкования растения, а значит и до раскрытия цветков, испускающих специфический запах, схожий с запахом зеленых букашек, именуемых полевыми клопами.

Для жителей Закавказья свежие листья кориандра такой же деликатес, как шавель для жителя России. Они вкусны и питательны, бодрят, сохраняют силы, оберегают от заболевания цингой. Говорят: «Достоинства розы соловей знает, достоинства зелени — армянин». В Армении листья кориандра называют киндзе или кинза, в Грузии — киндзи, в Азербайджане — кишнит. Отсюда произошло русское — кишнец. Кулинары повсеместно именуют кориандр кинзой или киндзой. Ее добавляют в первые и вторые блюда, в приправы. Из кинзы готовят известную грузинскую пасту-приправу «Аджика» и сушеные пряности «Хмели-сунели». Отвары семян кориандра улучшают пищеварение, повышают аппетит, обладают желчонным свойством.

Конечно, таким замечательным растением не могли не заинтересоваться уральские овощеводы. После Великой Отечественной войны его выращивали на семена в Пермском сельскохозяйственном институте. Был он и в экспериментальной коллекции растений Уральского филиала Всесоюзного института растениеводства в Нижне-Исетске на южной окраине Свердловска. В начале 60-х годов активным пропагандистом и распространителем кориандра стал отдел овощных культур Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства, созданного на базе ВИРа.

Вот так и в наше время идут на Урал новые овощные культуры.

Юрий ОКУНЦОВ, краевед

Последний бой комиссара Малышева



Скупые строчки из энциклопедии: «Малышев И. М. (1889—1918), партийный деятель. Член Коммунистической партии с 1905 г. Из рабочих, учитель. В 1917 г. председатель временного Екатеринбургского комитета РСДРП(б), участник установления Советской власти в Екатеринбурге. В 1918 председатель уральского обкома партии и член облисполкома Советов Урала, в марте — апреле комиссар Верхисетской дружины и штаба по борьбе с дутовщиной, с мая военком, затем командующий Златоустовской группой советских отрядов, действовавших против белочехов. Захвачен белогвардейцами и расстрелян 22 июня на ст. Тундуш (близ Златоуста)»*.

О Малышове много писали и пишут. Однако обстоятельства его гибели до сих пор освещаются неверно. Нет, он не был взят в плен и расстрелян, как утверждает энциклопедия. В вышедшем недавно сборнике «Комиссары на линии огня» версия последнего боя Малышева тоже не соответствует действительности. Попытаемся с помощью документов и воспоминаний очевидцев установить истину.

В ночь на 27 мая 1918 года части чехословацкого корпуса подняли мятеж против Советской власти в Челябинске и захватили город. Попытались взять и Златоуст, но были отброшены. На следующий день И. М. Малышев, получив мандат уральского областного Совета рабочих и крестьянских депутатов, выехал в Златоуст. Он был назначен военным комиссаром частей, действующих против мятежников. Сюда же прибыл председатель Высшей военной инспекции Н. И. Подвойский. По поручению Советского правительства он попытался вступить в переговоры с мятежниками, но контрреволюционеры не пошли на них. В районе Златоуста был создан Златоуст-Челябинский фронт, который должен был остановить продвижение белочехов вдоль железнодорожной магистрали в сторону Волги. Как выяснилось позже, это было главное направление наступления белочехов. В. И. Ленин писал тогда: «Спасение не только русской революции, но и международной на чехословацком фронте...»

Военком Малышев в донесении уральскому обкому РКП(б) от 7 июня 1918 года так охарактеризовал положение: «...борьба с чехословаками переходит в борьбу с организующимися в окружающей местности казаками. Местные кулаки и все контрреволюционеры подняли голову... Моя задача, как военного комиссара, больше всего... должна сводиться к политической работе... На самом же деле отсутствие военного руководителя возлагает на меня и чисто оперативную работу. Кроме того я получил в свое распоряжение недисциплинированные отряды в 15—100 человек, так называемые боевые дружины, которые были посланы с заводов без всякой фильтровки... и приехали сюда на 3—4 дня, а затем хотят возвратиться обратно и «спасать революцию» на местах. Объединить все эти отряды как в военном, так и в политическом отношении должно, даже можно, но для этого необходима сила, на которую мог бы опираться...»

Военком не жаловался на трудности, он настойчиво просил прислать военных специалистов и надежный, хорошо подготовленный отряд. Военспецов так и не прислали, зато вскоре прибыл из Петрограда эстонский коммунистический пехотный батальон — регулярная часть Красной Армии под командованием большевика-офицера Якоба Пальвадрэ. В течение месяца фронт вел ожесточенные бои на подступах к г. Миассу. В ходе боев из разрозненных рабочих дружин формировались батальоны Красной Армии. Все попытки белогвардейцев овладеть Златоустом оказались безуспешными.

* Гражданская война и военная интервенция в СССР.— Энциклопедия, М., 1983.

В середине июня в тылу у красных войск вспыхнули кулацко-эсеровские мятежи, которыми вскоре был охвачен почти весь Златоустовский уезд. Особенно опасными эти выступления были на Кусинском и Саткинском заводах, а также в сельском центре уезда — в селе Месягутово. Мятежи сопровождались страшными зверствами.

18 июля в штаб Малышева прибыли руководители Златоустовского уездного совнаркома и потребовали направить отряды для ликвидации контрреволюционных восстаний. Оголять фронт было опасно, но другого выхода не было. На следующий день Малышев отправил командованию телеграмму: «На ликвидацию мятежей сняли с фронта, послали: в Веселовку — юрюзанский отряд Проширова; в Сатку — под руководством комиссара Коковихина первую роту Миньярско-симского батальона (150 красноармейцев, бронепоезд с орудием); в Леузы — роту под командованием Аникеева и сводный кавалерийский отряд... Мобилизация вызвала повсеместный саботаж, мятежи. Эсеры, кулаки, башкирские националисты зверски расправляются с Советами. Кусинский мятеж возглавляет штаб правых эсеров. Сегодня с ротой эстонцев выезжаю в Кусу сам...»

Малышев приказал командиру роты бывшему штабс-капитану Мянникусу начать наступление на Кусу. Одновременно со стороны Златоуста перешел в наступление красногвардейский отряд З. Аникеева. Им было приказано избегать обстрела населенных мест, чтобы не пострадало мирное население. Вскоре Кусинский завод был очищен от контрреволюционеров. Из подвала керсиновой лавки освободили несколько десятков сторонников Советской власти, обреченных мятежниками на смерть. Вечером 22 июня Малышев выехал на фронт. К его штабному вагону был прицеплен санитарный с ранеными в бою красноармейцами. В поезде было 34 раненых (по другим данным их количество меньше), две санитарки. Охраны у военкома не было, его сопровождал Савва Белых, выполнявший обязанности адъютанта. В поезде находился также комиссар Пермского отряда Полушин. В Бердяуше Малышев сделал остановку, а поздно вечером поезд военкома двинулся в сторону Златоуста.

О том, как развивались события дальше, существует несколько версий. Одна из них принадлежит комиссару Полушину. По его словам, когда бандиты напали на поезд, остановившийся на станции Тундуш, Полушин спал. Спал так крепко, что проснулся, когда бой был уже закончен, а Малышева и Белых в вагоне не было. Спускаясь по ступенькам из вагона, он получил удар сзади и упал на землю. К нему подбежали,

начали шарить по карманам, пинали, били и тут же делили награбленное... Как же Полушину удалось уцелеть? Он пишет, что в это время к станции подходил поезд, и мятежники, перепугавшись, начали разбегаться. Полушин же, выхватив у одного из бандитов винтовку, прикончил поочередно пятерых (!) мятежников и скрылся. По его словам, некие «служашки связи, бежавшие с паровоза», видели, что при первых выстрелах из вагона выскочили два человека, но тут же были убиты. Полушин считал, что это были Малышев и Белых.

Другая версия принадлежит участнику гражданской войны М. В. Морозову, командиру конной разведки на Златоуст-Челябинском фронте. В 60—70-е годы он собрал большое количество документов и воспоминаний участников, в том числе санитарки Трапезниковой, чудом уцелевшей при налете на поезд. По словам Трапезниковой, дело было так. В полночь поезд командующего остановился на ст. Тундуш, где к нему должны были прицепить несколько вагонов со срочным грузом. Штабной и санитарные вагоны были сцеплены в левом тупике у погрузочной площадки, а паровоз ушел. Трапезникова и Савва Белых, взяв ведра, пошли за водой для раненых. Вдруг в темноте загремели выстрелы. Савва с револьвером бросился к вагонам. Беспорядочная стрельба продолжалась несколько минут. Затем по команде Малышева группа легкораненых попыталась пробить себе дорогу гранатами. После серии взрывов завязалась короткая рукопашная схватка. Затем бандиты ворвались в вагоны и начали вытаскивать захваченных в плен. Все раненые были уведены в село Куваши и зверски убиты. Санитарка Трапезникова, воспользовавшись темнотой, ушла в лес. Ее подруга Н. Колчина, оставшаяся с ранеными, была растерзана бандитами.

Позже выяснилось, что в налете на поезд участвовало около трехсот златоустовских и кувашинских эсеров, которые после участия в саткинском мятеже захватили село Куваши и станцию Тундуш. О поезде им сообщил начальник станции эсер Стемплевский.

В ночном бою Малышев, по-видимому, был ранен и контужен. В темноте его не заметили. На рассвете, придя в сознание, он стал лесом пробираться вдоль железной дороги к станции Бердяуш. У моста через речку Тундушу, в наслах открытых окопах сидели мятежники под командованием прапорщика Пирожкова. Заметив Малышева, Пирожков с двумя бандитами бросился за ним. Понимая, что от погони не уйти, комиссар обернулся и вскинул маузер, но тут же упал, сраженный вражеской пулей... Маузер военкома был

позже передан в уездный комитет партии социалистов-революционеров, как свидетельство «подвига» бандитов.

Так погиб комиссар Малышев.

Вскоре части Красной Армии вынуждены были оставить Златоуст. С боями они отошли на Кусу, а затем на Нязепетровск. Златоуст-Челябинский фронт перестал существовать. Красные отряды отходили, чтобы через год вернуться на Урал.

Вместе с другими частями Красной Армии в июле 1919 года Урал освобождал и полк имени Малышева. Он был создан из рабочих заводов и фабрик Екатеринбурга, знавших и любивших Ивана Михайловича.

В 1920 году златоустовские чекисты расследовали обстоятельства гибели И. М. Малышева. Удалось установить место захоронения отважного комиссара. Останки героя революции были доставлены в Златоуст и под залпы прощального салюта погребены рядом с братской могилой златоустовских подпольщиков, расстрелянных колчаковцами.

г. Златоуст

Брат КОСМОНАВТА

Владимир БОРИСОВ,
инженер

В небольшой книжке космонавта Г. Т. Берегового «О времени и о себе» читаем: «Началу учебы в Луганске сопутствовало постигшее наш дом несчастье: погиб наш Виктор, старший брат... Трагический поворот сделал меня разом повзрослевшим. Гибель Чкалова и Виктора только усилила во мне приверженность к небу...» Из этих строк, казалось бы, вытекало, что трагедия случилась в небе. А она, оказывается, произошла на земле.

В юности Виктор увлекался боксом, вспоминает Георгий Тимофеевич. В 1928 году семья переехала в Енакиево, и Виктор поступил в Киевский радиотехникум. Однажды во время каникул он пришел на летное поле планерной школы и на всю жизнь подружился с небом.

После планерной школы Виктор Береговой уехал в Полтаву, где окончил авиашколу, и по направлению Центрального Совета Осоавиахима, как один из лучших инструкторов, был направлен в Челябинск.

Он был инструктором первой категории — довольно высокая спортивная ступень в то время. В Челябинске В. Берегового назначили начальником парашютной станции. Он энергично принялся за дело, и вскоре его узнала вся городская молодежь.

Тогдашний товарищ Виктора (жили в одной комнате) Клим Иванович Шульга рассказывает:

— Черноволосый, худощавый, он, на первый взгляд, мало походил на смелого и решительного летчика, но был пилотом высшего класса, отличным парашютистом и до безумия смелым человеком. Знаете, как на праздниках мы агитировали за парашютный спорт? Спустили на парашюте... поросенка. Пилот так умело делал расчет, что поросенок почти точно приземлился в центр круга. Пилотом, как правило, был Виктор Береговой.

Августа Михайловна Унгвицкая, тогда ученица Берегового, а ныне пенсионерка, добавляет:

— Был он требовательный и в то же время общительный, веселый. Не любил разгильдяйства. Один раз прыгала Нина Дорофеева. Парашют долго не могла раскрыть и только метров за сто до земли сумела. Приземлилась в деревне — парашют над дом, сама в огород. Мы завели трактор — и в Васильевку. Помогли быстро свернуть парашют, чтобы Береговой не видел, — он ведь за парашют полжизни отдал. Едем — стоит Виктор Тимофеевич, грозит нам кулаком и сильно ругается. Но был отходчив.

Аэродром аэроклуба им. Рындина занимал в Челябинске территорию нынешнего Северо-Запада. От того времени сохранилось лишь комендантское здание (ныне автомобильная школа ДОСААФ на улице Красного Урала, 23). На этом доме стоял конус для определения направления ветра, внутри — классы, комната для снаряжения и буфет, где всегда продавалась копченая колбаса.

Парашютный спорт был в Челябинске в чести. Секция не могла принять всех желающих. Город еще спит, а с холма, поднимающегося от левого берега реки Миасс, одна за другой взлетают ввысь большекрылые птицы. Летный день будущих пилотов — курсантов аэроклуба — уже начался. Это были молодые рабочие тракторного завода, станкостроя, абразивного, ЧГРЭС и завода ферросплавов. Без отрыва от производства они обучались летному и парашютному мастерству. Молодой энергии хватало и на учебу, и на работу. Готовились в любую минуту встать на защиту Родины.

И одним из руководителей летного дела был Виктор Тимофеевич Береговой. «Челябинский рабочий» в тридцатых годах то и дело интере-

суется делами аэроклуба. «Начальник парашютной станции т. Береговой включается в стахановскую декаду...», «Урок топографии в Челябинском аэроклубе. Руководит занятиями начальник парашютной станции т. Береговой...», «Комсомолец Береговой В. Т. совершил 50 экспериментальных прыжков...»

Кроме топографии, он преподавал метеорологию и вел политзанятия начальствующего состава. Книга приказов за 1936—37 годы испещрена записями: командирится в Свердловск, Горький, Чебаркуль, Касли, Камышлов...

В один из летних вечеров на танцах в Доме культуры ЧГРЭС Виктор познакомился с Верой Ефимовой, работницей ЧГРЭС. Вскоре они поженились. Появилась дочь, которую зарегистрировали под именем Леда — так захотел отец.

Но приближалась беда. 20 октября 1937 года состоялась третья областная конференция Осоавиахима, где члены добровольного общества были представлены сообщниками диверсантов и шпионов. Сегодня обвинения кажутся смехотворными: не тому дали значки, не изучили положение о выборах в Верховный Совет СССР и т. д. Конференция признала работу облсовета неудовлетворительной и наметила мероприятия по ее оздоровлению.

Виктору Береговому пришла повестка, приглашающая зайти в НКВД. Утром, собираясь на работу, он сказал об этом жене. Домой вечером не вернулся. Ночь прошла тревожно. Вера Прокопьевна пошла в НКВД. Виктор был там, но свидания не дали, не разрешили ничего передать.

Вскоре наступил праздник — День Конституции. Она пошла во дворец, но ее не пустили, как жену «врага народа»...

Шло время. Как-то десятилетняя Леда листала семейный альбом с фотографиями и обратила внимание на мужчину, который показался ей похожим на ее. И тогда мать рассказала ей об отце. А еще десять лет спустя они получили официальный документ: «Дело по обвинению Берегового Виктора Тимофеевича — до ареста 16 ноября 1937 г. начальника парашютной станции Челябинского аэроклуба, пересмотрено Военной коллегией Верховного Суда СССР 5 сентября 1957 г. Приговор Военной коллегии от 4 января 1938 года в отношении Берегового В. Т. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено.

Береговой В. Т. реабилитирован посмертно.

Председательствующий судебного состава Военной коллегии Верховного Суда СССР — полковник юстиции Цырлинский».

26 октября 1968 года Людмила

Викторовна впервые услышала по радио фамилию Георгия Тимофеевича Берегового. Встреча состоялась немного позднее. Еще была жива бабушка, она сразу узнала ее. В далеком 1938-м Мария Семеновна написала невестке письмо, просила, чтобы она с дочерью приехала к ней. Но чьи-то «услужливые» руки ответили, что ребенок умер. Так Леда родилась для бабушки во второй раз.

В небольшой домашней библиотеке Людмилы Викторовны особняком стоят книги, написанные Г. Т. Береговым и о нем самом. В одной из них сказано: «Не сердись, батя, но я решил стать летчиком. Без неба мне не жить». В книге помещена фотография — жена, дочь, сын Виктор, названный в память о старшем брате. И еще одна фотография — с братом Михаилом Георгиевичем. У того тоже сын Виктор, тоже названный в память о старшем.

Людмила Викторовна каждый год встречается с братьями отца. Кажется, обо всем расспросила. Знает, что в сентябре 1942 года со станции Челябинск был отправлен первый эшелон комсомольцев-добровольцев, имеющих парашютную подготовку. Они уехали защищать Москву и увезли с собой частицу мужества и упорства ее отца.

А вопросы все появляются, не дают покоя. Например, такой: где похоронен ее отец?

г. Челябинск

БОЙСЯ БАНИЦА НА ШЕЕ...

«Ласковый май» —
из разряда тех явлений,
о которых
уместнее размышлять
в личной
ретроспективе:
«Я и Явление»,
а не наоборот.

Юрий
ШИНКАРЕНКО

...Полагаю, что о группе «Ласковый май» я узнал чуть раньше Андрея Разина.

В жаркое лето, когда воздух над оренбургской степью был зелен от пыльцы спорыша, а белые и розовые фонарики цветущей картошки семафорили шмелям, ваш не очень покорный слуга в отпускной расслабленности перечитывал книжку Ф. Зальтена «Бемби» и с каждой страницей все глубже погружался в собственное детство. В это время на веранде, защищенной ампельными ветвями дикого огурца, появились девочки. Как оказалось, пришли они «брать заезжего журналиста за жабры».

— Напишите про Юру Шатунова! — потребовали они и включили магнитофон. Раздалась летящая музыка, и голос, так хорошо знакомый тем, кто спустя два года голосовал за первое место «Ласкового мая» в хит-парадах, с наивной безыскусностью запел о чем-то простом, мальчишеском.

На столе моем, уложившись в солнечный квадрат, лежала книга в давно знакомом зеленом переплете, с тревожно застывшим олененком на обложке. По загнутым уголкам страниц можно было догадаться, как трудно давались восьмилетнему читателю первые главы, и угадать дыхание, на котором читались последние. С этой книгой мы не виделись почти двадцать лет, я не мог от нее оторваться.

Кассету мы все-таки дослушали. У девочек в глазах стоял требовательный вопрос, а мне вовсе не хотелось пускаться в пространную дискуссию о массовой культуре и отвечать на их «ну, как?»

— Знаете, этот «Ласковый май» — ваши местные радости. Лучше б почитали книжку. Ведь есть же у вас с детства любимые книги?

— «Колобок», что ли?..

— Почему бы и нет? Сказки — они все на вырост, на любой возраст. Разве «ам!» — и съела — это лиса?! А может, это масскультура?

Я вернулся к «Бемби». Книга щедро дарила воспоминания. Открытие маленьким олененком огромного мира... Как это походило на мое открытие, что мир не ограничен акацией у дома, давшей представление о пыльно-желтом цвете! Гибель оленихи... Дружба Бемби с Фалиной, ласково переросшая в любовь... Радостно узнавалась в Фалине одноклассница, фамилия которой излучала грибной осенний воздух...

Через год я снова был на родине. И опять сквозь зеленые сплетения дикого огурца, явственно тянулись ко мне три невинные мордашки — Бемби, Фалины и Гобо. А мудрый вождь, невидимый в резких сумерках степной предночи, бродил где-то рядом, прядал ушами на звуки несущихся из конца улицы «Белых роз» и выверял, удо-

дить ли неопытных оленят из зоны досягаемости магнитофона.

И опять появились нарушители деревенской тишины, мои повзрослевшие знакомые. С симпатичной ехидцей спросили:

— А «наши местные радости» переросли во всесоюзные?

Я улыбнулся:

— Ага, я еще в прошлом году хотел дать вам из Свердловска телеграмму: исправьте слово «ваши» на «наши»...

И рассказал им, как в прошлом году прошался со своей малой родиной. На площади возле вокзала искрился цветомузыкальный фонтан. Струи воды, высосанной из недалекого Урала, изобразив подкрашенную арку, падали на горячий асфальт и испарялись с легким запахом пескорея и лягушачьей ряски. Из репродукторов несло:

...И снова седая ночь,

И только ей доверяю я.

Знаешь, седая ночь,

Ты все мои тайны.

Под эту песню хорошо вспоминалось. Вспомнилось, как нас, деревенских пацанов, попросили поработать на саялах. И вот дребезжащие допотопины ползут по черному косогору. Дело нехитрое — следить за ровным током зерна, но утомительное и пыльное. Зато сколько радости дарит вечер, обещающий скорый отдых напряженному позвоночнику, отяжелевшим мышцам. С косогора, с подмостков саялки хорошо видно, как начинает пламенеть закат над селом. Те закаты неповторимы... Надо весь день смотреть под ноги, на черные борозды, надо, чтобы глаза, забытые режущей пылью, возненавидели монотонность этой черноты, надо в вечер оказаться за селом, на крутобокой возвышенности, откуда горизонт неприневолен, — чтобы суметь пережить вновь ту радость от игры горячими красками, которую подарило детство... Когда я теперь узнаю какое-нибудь новое для себя обозначение цвета и пытаюсь закрепить его в памяти, я представляю степной закат. Читаю: «лососевый» — и вижу извечную небольшую полосу над многокилометровой багряной лентой через переход густо-оранжевого... Вот он какой, лососевый цвет... А выше — кремово-сиреневый, тающий в коричневато-бланжевом... После работы мы идем к озеру. Закат уже опал, и кажется, что свет держат лишь белые лилии. Доплываешь до их лежбища и одну выдираешь из донного ила со звуком, напоминающим вздох нутрии. Лилия — для девчонки, фамилию которой я даже сейчас не решаюсь никому сказать, боясь нарушить то счастливое расстояние между нами, которое навсегда замерло так, чтобы протянутая лилия была принята ею...

Знаешь ты без слов — тебе давно все ясно, только прячешь взгляд своих счастливых глаз...

— пел подростковый, с хрипотцой и простительными «петушками» голос, заглушая гул товарища. И мне казалось, что эту песню я уже слышал. В детстве. За селом, у груды кварцевых глыб, которым от лилий передалось мерцание ночного света (вот от чего ночь седая), начиналось языческое торжество. Кто-то прикатывал баллон от «Кировца», его поджигали. Столб ревушего пламени косматил ночную темноту, как ракетный двигатель, и сама земля казалась ракетой, уносящей нас в бездну взрослой жизни. Как здорово было расслабиться возле этого импровизированного костра после тяжелого рабочего дня (спасибо тем, кто нарушил все инструкции о детском труде!). Как здорово, что рядом, на расстоянии вытянутой руки, с белой лилией (белые розы у нас не водятся) сидела девочка... Как здорово, что кто-то пел, облекая наши сложные чувства в оболочку ясных слов...

Я любил песни в исполнении Юры Шатунова за то, что он мог оказаться на той поляне моего детства. Я принял Юру из детства, из того возраста, когда недостаток эстетической требовательности с лихвой восполняется и искупается искренностью.

Если бы творчество Сергея Кузнецова и Юры Шатунова ограничилось первой, оренбургской кассетой, если бы не пошла писать губерния — все бы стояло на своих местах. Песни, не претендуя на высокое искусство, радовали и согревали бы многих. Местные радости — понятие растяжимое. Кто-то расширяет седую ночь как мерцание моржовой кости в темном чуме, кто-то — как сияние светлячка под диким фундуком...

Юра пел про ласковый май Оренбуржья. В Абхазии или Якутии май ласков по-своему.

И совсем он другой — май — в Москве.

Отысканная предприимчивым Разиным и импортированная в столицу, группа стала претендовать на высоту, для которой ее возможностей явно не хватало... Именно столичные подмостки разрушили образ и группы, и Юры.

Как всякое явление массовой культуры, «Ласковый май» занял ту нишу общественной потребности, которую настоящее искусство проигнорировало, в данном случае — потребность в беспроблемности. Беспроблемность, как на дрожжах, забродила в условиях социальной напряженности, взаимных обвинений, того поиска истины, который зачастую ведется сейчас методом «анатомирования по живому». Наши кухни превратились в места несанкционированных митингов. Наши разговоры начинаются с еще одной «открытой» информации. Наши сердца разрываются от горя Армении и печальной тоски Афганистана...

Вот тут-то оно и прозвучало: «Белые розы, белые розы...» Расслабьтесь, глубоко вдохните... вашим ногам тепло... Песенный аутотренинг. Теория социального «поглаживания»... Венгерское телевидение, к примеру, заботится о том, чтобы в вечерние часы сказать своему уставшему зрителю около десятка комплиментов. Наше тоже спохватилось — правда, на прямую комплиментарность оно не решается, но вот, ненадолго отказавшись от призывов к покаянию и вселенских обвинений, взяло да и показало «Рабью Изауру». Закрепись слово «фаэнда» в нашей лексике чуть раньше — положение «Ласкового мая» в хит-парадах, возможно, было бы рангом пониже.

Впрочем, это уже от них не уйдет. Столичный период «Ласкового мая» кипуче начал разрушать образ группы. Уже тем хотя бы, что проблемы вокруг беспроблемной группы накалялись так, как когда-то вокруг рок-движения в целом.

Значит ли это, что Юре не следовало уезжать из Оренбурга? Нет, это абсолютно несущественно... Но вот, знаете, у каждого человека есть своя тропа, где он определенное время должен быть в одиночестве, и эту тропу каждому следует пройти до конца.

...Ко второй встрече со своими оренбургскими поклонниками «Ласкового мая» я подготовился. Привез с собой кассеты, на которых записаны интервью с В. Н. Тазикиновой, директором детского дома, где жил Юра, и с Андреем Разиным. И... еще раз перечитал «Бемби». Помните отношения олененка и Вождя? Помните, как Вождь настаивал, чтобы юное существо как можно дольше оставалось наедине с самим собой? «Одиноким путник идет дольше других»... По-моему, в этой мысли ступок всех педагогических теорий. Подростку нужны не только шум-гам, но и тишина; не только безудержное общение, но и атмосфера здорового одиночества. Чтобы побыть с собой, посмотреть в себя, отключившись от быта, подумать о бытии... У Юры Шатунова были такие маршруты.

Я включил магнитофон. Раздался голос Валентины Николаевны Тазикиновой, бывшего Юриного директора.

— ...С 1985 года Юра Шатунов воспитывался в Акбулакском детском доме, где я была директором. Учился в пятом и шестом классах. Однажды он пропал — целый день нет его, даже обедать не пришел. Мы всполошились: где он, где он?.. К ужину заявился, принес семь маленьких утят... Дикая утка на речке погибла, может, подстрелил кто, а утята остались. Он с ними целый день нянчился, принес в детдом. А у нас каждый класс живет в своей квартире. На него цыкнули: «Утят еще тут не хватало, птичник разводить!» Он ко мне: «Валентина Николаевна, разрешите утят оставить!» Я на него смотрю: весь мокрый, целый день лазал, спасая этих малышек... Конечно, разрешила. Он сложил птенцов в коробку, отнес к себе. Травку им рвал, на улицу выносил: он на лужайке лежит, а утята рядом пасутся. Когда они подросли, он их на Сакмару выпустил... Мальчик он очень добрый. Детдомовцы вообще все хорошие, они себя не пощадят, если верят в человека. Они не половинчатые... И это у них на всю жизнь. Не знаю, останется ли Юра настоящим детдомовцем в этом смысле?

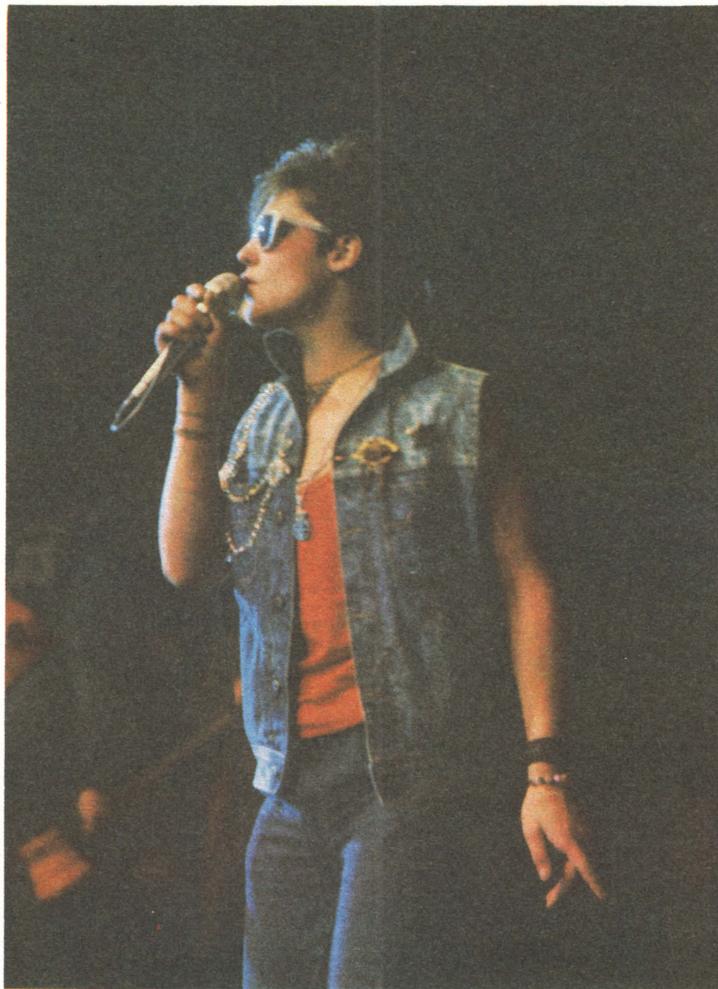
Его страстью был картинг. Однажды приехало оренбургское ТВ снимать передачу о нем — «Знакомство с Юрием Шатуновым». Он прибежал ко мне: «Валентина Николаевна, про наш интернет передачу делают! Давайте картинги покажем?.. Ой, у нас же всего два картинга на ходу...» Я говорю: «Юра, они же пришли снимать не как ты катаешься, а как поешь...» Да он и сам прекрасно это знал — но он скромный мальчишка, и потом техника его гораздо больше интересовала.

Юре не дали ни повзрослеть, ни прислушаться к себе — какое призвание в нем звучит громче... Все его личные маршруты были сбиты ранней славой, непрерывными гастролями, толпами поклонни.

Меня перевели в Оренбург, и я из Акбулакского детского дома забрала с собой человек десять самых трудных ребят. Юра к категории трудных не относился, и я его оставила в Акбулаке, но он оттуда сбежал и без документов приехал в Оренбург. Где-то к зиме 1986 года пришел к нам руководителем ансамбля Сергей Кузнецов, парень после армии. Музыкального образования у него нет, — нам нужно было только, чтобы он занял ребят. Сначала он занимался со всеми, потом увидел, что Юра хорошо поет, и потихонечку свернул все на Юру. Стал ездить с ним, выступать. Другим ребятам это не нравилось, началась зависть. В конце учебного года Юра стал пропадать из интерната, чуть было не остался на второй год. Надо было спасать мальчишку, и мы на время вывели Юру из группы. Потом в Оренбурге появился Андрей Разин и сделал все возможное и невозможное, чтобы мальчонка от нас забрать. Я верила Андрею, он говорил, что собирается устроить Шатунова в училище Гнесиных, где сохранят и разовьют его голос. Мы думали: и вправду Юра будет в Гнесинке чуть не сыном полка...

А вышло, что Разин стал импрессарио группы и начал заколачивать на Юре деньги. Не подумайте, что я против современной музыки, против рока — нет, я сторонник. Но единственное мое опасение и забота: НАДО МАЛЬЧИШКУ ВЫРАСТИТЬ. Чтобы он встал на ноги, хорошим человеком стал. Не надо его голос выжимать — надо думать,

ЛА
СК
ОВ
БИ.
И



М
А
И





каким человеком он станет... Не дай бог, завтра с ним что-то случится, и у него пропадет голос — кому он будет нужен? Разину? Еще кому-то? А ведь у него нет ни отца, ни матери... Музыкального образования он не получит, специального тоже, а избалован будет жизнью не знаю как...

Мы, конечно, были против того, чтобы Юра забирали в Москву. В прошлом году в детдоме открылась школа искусств, наша, своя — там двадцать преподавателей, шесть отделений. Начальник облуправления культуры пошел нам навстречу и дал целую ставку вокалиста, чтобы он занимался только с Юрой. Но получилось так, что вмещалась Москва. Вмешался не музыкальный мир, не Наталья Ильинична Сац, не училище им. Гнесиных, а люди из коммерческого мира...

Я согласен с директором детдома. Если бы Юра оказался среди творцов настоящего искусства, они бы позаботились о нем как о человеке. О своеобразии его личности — не только голоса. Дали бы подростку до конца сформироваться. Коммерческому же миру наплевать на человека, на личность, на цельность и своеобразие — ему главное, чтобы «личность» производила товар.

А искусство — что ж искусство... Если оно истинное, настоящее, оно характеризуется не рыночной потребностью. Настоящее отличается от подделки тем, что сработано не на день, а надолго, тем, что имеет подтекст, который умудрит не одно поколение. Часто оно ничего общего не имеет с тем эзоповым языком и с той политической шелухой, которыми нынче подбили свои худосочные одежки многие рок-группы, чтобы скрыть прорехи. Это — глубина, которую чувствуешь с самого начала и в которую, как в светлое озеро с каменным дном, учишься входить всю жизнь, с каждым годом все дальше от закрайка...

Вот раскроем книгу... Помните, во время одной из охотничьих облав из леса пропадает юный Гобо? А потом появляется: «...Гобо рассказывал, как, оставшись без всякой помощи на снегу, он поджидал смерть». «Собаки хотели растерзать меня, но тут появился Он!.. (охотник. — Ю. Ш.). Собаки покорно легли у его ног. Тогда Он поднял меня и, ласково прижимая к себе, понес...» Гобо все рассказывал о разных чудесах. «Снаружи все было покрыто толстым, пушистым снегом, а я находился в тепле, мне было просто жарко. Он кормил меня каштанами и картофелем, репой, даже сеном — словом, всем, чего я только мог пожелать... Вы все считаете Его злым, но Он вовсе не злой. С теми, кого Он любит, кто верно служит Ему, Он удивительно добр. Никто в целом мире не может быть добрее Его.

Гобо все еще восхвалял доброту своего нового друга, когда из зарослей бесшумно выступил старый вождь. Гобо не заметил его, но все остальные увидели старого вождя и замерли в благоговейном испуге. А тот стоял неподвижно, как бы ощупывая Гобо своими строгими, глубокими глазами.

Гобо осекся, заметив наконец старого вождя.

И в наступившей тишине старый вождь обратился к Гобо своим обычным и властным голосом:

— Что это за полоса у тебя на шее?

Тут только все заметили на шее Гобо словно каемку из примятых, а частью вытертых волос.

Гобо смущенно ответил:

— Это?... Это след от красивого банта, который я носил... Это Его бант... Большая честь носить Его бант...

Старый вождь долго глядел на Гобо, пронизательно и печально:

— Несчастный, — сказал он тихо, повернулся и вмиг исчез.

Вот это и есть настоящее. Здесь столько чувства и мудрости, что любому хватит на всю жизнь. Где-то хранятся эталоны физических мер: килограмма, метра, секунды — для них строят солидные помещения. Для хранения духовных эталонов хватят и подстранички... Вот они — эталоны верности и предательства, свободы и рабства,

искушения и стойкости... Другому в этой книге будет важно другое; он найдет там то, что недоступно мне. Я же останусь на своей глубине и буду решать свои вопросы...

Я вспомню знакомого, который недавно признался, что у него есть возможность уехать в Италию. Навсегда. Мол, жизнь одна, и тратить ее на очереди за мылом и чаем и наблюдать, как в высоких окнах отражается зернистая икра, — невмоготу. В последнее время рассуждающих так все больше и больше. Они так скрывают на визу и чемодан, что мысли о нашей униженной Родине, об ответственности за нее не успеваешь им высказать. Мудрый же Зальтен, автор «Бемби» предлагает ёмкое и короткое, успевающее вдогонку: «Бойся полосы на шее!»

Но даже не эта подсказка важна, черт с ними, с этими «экспедициями за сокровищами». Важнее иное. Во мне самом иногда рождалось сомнение: а как быть с теми, кому здесь не давали работать, жить? Они-то достойны понимания и оправдания? Но перечитал то, что может служить эталоном предательства, и с удивлением обнаружил в нем честные до предела строки: «Гобо рассказывал, как, ОСТАВШИСЬ БЕЗ ВСЯКОЙ ПОМОЩИ на снегу, он ПОДЖИДАЛ СМЕРТЬ». То, что настоящее — то исчерпывающее. Исчерпав тему предательства и зависимости, Зальтен устами героя навсегда для всех роняет: «Несчастный!»

...Я захлопнул книгу, и три олененка, спотыкаясь о картофельные гнезда, отступили со двора. Дождавшись, когда смолкнут их легкие шаги, я вскрыл кассету с размышлениями Андрея Разина. Это тоже рассказ о Гобо, это новая версия печальной истории.

Андрей Разин, художественный руководитель студии «Ласковый май»:

— Я сам когда-то воспитывался в детдоме и знаю, что детдом может дать одаренному ребенку. Мы ходим табуном, в рваных брюках, с синяками — никого не интересуем, в чем мы ходим, где нам поставили синяк. Но как только ребенку кто-то старается помочь — все тут же вспоминают свои гуманные чувства и педагогические обязанности. Это настораживает. Они говорят об этом с высоких трибун...

Я же всегда отталкивался и буду отталкиваться от реальных дел. О Шатунове просто вам скажу: к нам пришел мальчик, который даже говорить нормально не умел. Сейчас он умеет вежливо разговаривать, что-то знает... Нужно было опасаться за Юрия Шатунова, если бы он оставался в оренбургском интернате. Поставили бы ему с закрытыми глазами тройки и выпустили бы очередного механизатора...

Мы сейчас работаем с Юрой. Не так просто, но работаем. С сентября прошлого года при Москонцерте и при школе одаренных детей Московской государственной консерватории создана хозрасчетная студия «Ласковый май». В ней будут работать дети, у которых нет родителей. Мы планируем большой комплекс мероприятий, занятий, совместных концертов. Ребята прописываются в школы-интернаты, в общежития, всем им предоставляется «койко-место». Обеспечиваем детей трехразовым питанием, кормим хорошо. По выпуску им предоставляются кооперативные квартиры. Учатся они у одного преподавателя, который вместе с ними выезжает на гастроли. Сейчас сделали поточную систему. Везет с собой преподавателей по всем предметам мы не в состоянии; у гастрольных коллективов большие сложности с номерами в гостиницах. Мы вывозим, например, физика, он работает с юными артистами месяц, проходит досконально всю программу. Это впервые в СССР, когда коллектив учится на колесах.

Со всеми ребятами заключены трудовые договоры. На общем собрании решили, что зарплата распределяется между совершеннолетними руководителями, директорами, которые эти деньги — большая сумма получается! — переводят ребятам на сберкнижки. На руки же даем строго лимитированную сумму — только то, что необходимо для игр, автоматов, мороженого. Если выступают во Дворце

спорта, где стоят игровые автоматы, — тут обходятся уже 20 рублями: пусть играют, развиваются. Все остальное бесплатно.

Одеваем тоже бесплатно. Стараемся хорошо одевать, только с «черного рынка». В советских магазинах ничего нет. Покупаем детям только хорошие вещи, а хорошие вещи стоят дорого. Приобрели Юре спортивный костюм. Ему очень тяжело ходить в гостинице в джинсах; обегали в поисках костюма все магазины — нету! Пришли на «черный рынок» — есть. За 400 рублей купили. А куда денешься?

Компьютер им купили — пусть в гостиницах играют. Юра купил себе японский мини-магнитофон, который комплектуют с телевизором, он его возит с собой, смотрит фильмы. Ему интересно, мальчик развивается. Купил еще японский магнитофон, под который можно заниматься. Купил плеер — слушает музыку. Сейчас «вдался» в Элвиса Пресли; он ведь жил в губернии, где никакой музыки не играли, кроме «Арлекино»... — и вдруг услышал мировые стандарты. Его музыкальные убеждения начинают меняться.

У Юры удивительный природный голос, прекрасный музыкальный слух: он с одного раза может записать любую песню, повторить любую мелодию. Юрий Шатунов известен всем. Но культуры и серьезного отношения к музыке, к дальнейшей своей судьбе больше у Кости Пахомова, другого нашего солиста. Юра относится к этому, к сожалению, прохладно: у него нет звезды, не зажигается...

Андрей продолжал говорить: о нечистоплотности концертных организаций, которые используют вывеску группы в коммерческих целях, о проблемах авторского права на поп-музыку, изготовленную непрофессионалами, о невозможности заниматься только студийной работой...

...Выходит, зальтемовский страшный Он и Андрей Разин — одно и то же?! Вон и «Комсомолка» сначала создала вокруг группы сиятельный абрис, а затем замаскировала контуры сажей...

Нет, друзья. Злой и коварный Он (вернее, Она) — это маскультура. А Андрей Разин — лишь один из Её добросовестных посланцев...

...Ночью мне снился сон. Я нес белую лилию по ночной степи к костру. Ближе и ближе был ревущий столб огня над покрывшей, облитой бензином. Кварцевые глыбы переливались всеми оттенками заката, как цветомузыкальный фонтан. Где-то там, замороженная языческим праздником, стояла девочка с ароматной фамилией. Я чувствовал, что сокращается расстояние между нами, и скоро можно будет протянуть руку с цветком, чашечка которого заиграет закатом... И вдруг я с ужасом понял, что собираюсь не подарить цветок, а продать...

Я проснулся. Понимающе кивнул черной тени олененка Гобо, которая сиротливо притаилась за моей живой изгородью, и шепотом спросил его: «Ты не боишься полосы на шее?»

И я решил: когда встречу с Юрой Шатуновым — я предложу ему одну простую штуку! Приехать в Оренбург, взять гитару и выбрести на какой-нибудь островок детства, где сидят уставшие от дневной работы ребята, смотрят на огонь и мечтают о будущем... И спеть для них, для пятерых-шестерых-семерых!..

Как, тёзка?

Оренбург — Москва

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Саблин. Неизвестные «звезды», «Комсомольское племя» (Оренбург), 9.04.88: «Похоже, они уверенно врываются в хит-парад «Комсомольского племени», покоря сердца своих слушателей первым 30-минутным студийным альбомом, разошедшимся по Оренбургу и области с невероятной для местной команды скоростью...»

П. Крючков, Юркины гастроли, «Комсомольская правда», 12.11.88: «...судьба Юрия Шатунова устроена. И пора сказать о человеке, который сумел сделать это почти за двадцать дней. Это Андрей Разин».

Э. Якубовский, «Ласковый май» или липовый?, «Вечерний Свердловск», 16.12.88: «...на щите у филармонии было написано: «Ласковый май-2». Кто же ответит за то, что тысячам свердловчан всучили фальшивку?»

Ю. Филинов, «Майские» метаморфозы, «Комсомольская правда», 10.01.89: «Чем больше я вникал в суть вещей и явлений, нагроможденных вокруг оренбургского таланта, тем больше поражаюсь огромному количеству людей, втянутых в водоворот обмана. И над всем этим лицо симпатичного молодого парня 25 лет от роду... Андрей Разин».

Е. Алексеева, Будет ли май ласковым?, «Пионерская правда», 17.01.89: «Как сложится дальше Юрина судьба? Ведь руководителя «Ласкового мая» — люди, у которых слово явно расходуется с делом».

Д. Красик, Дорогой автограф, «Вечерняя Пермь», 18.01.89: «После концерта желающие могли приобрести фотографии с автографами Юрия Шатунова (4 рубля)... Баснословно дорогие автографы!»

Ю. Филинов, «Майские» метаморфозы-2, «Комсомольская правда», 21.01.89: «Почему взрослые люди не спросили, где и как живут дети, которых собрал Разин? Знают ли они, что сам продолжатель традиций «сынов лейтенанта Шмидта» живет в Москве по справке, выданной Приволжским сельсоветом».

С. Бурдыгин, Похищение «Белых роз», «Южный Урал» (Оренбург), 22.01.89: «Разин, почувствовав удачу в коммерции, найдет новых солистов, если его не остановят — детдомов много. А ребята останутся ни с чем».

А. Щербаков, Почтовый ящик «ЗД», «Московский комсомолец», 23.02.89: «Як не вижу в советской эстраде коллектив, который мог бы сравниться с «Ласковым маем» в радикальности музыки, выходящей далеко за рамки того явления, что все мы называем поставангардом...».

А. Разин, Неласковый январь «Ласкового мая», «Московский комсомолец», 10.03.89: «Л. М.» неожиданно для сильных эстрады мира сего взлетел на верхние этажи популярности. Прибыли, которые он мог бы приносить столпам шоу-бизнеса, потекли мямо них. Можно ли такое стерпеть? И пошло, и поехало...»

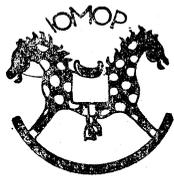
М. Петров, «Мы просто балдеем!», «На смену!» (Свердловск), 8.04.89: «Зачем вам эта сладкая жвачка?».

О «Ласковых маях», «Сельская молодежь», май-89: «...музыка «Ласкового мая» завладела молодыми душами молниеносно, в отличие от творений иных рок-групп, проделавших длинный путь к признанию».

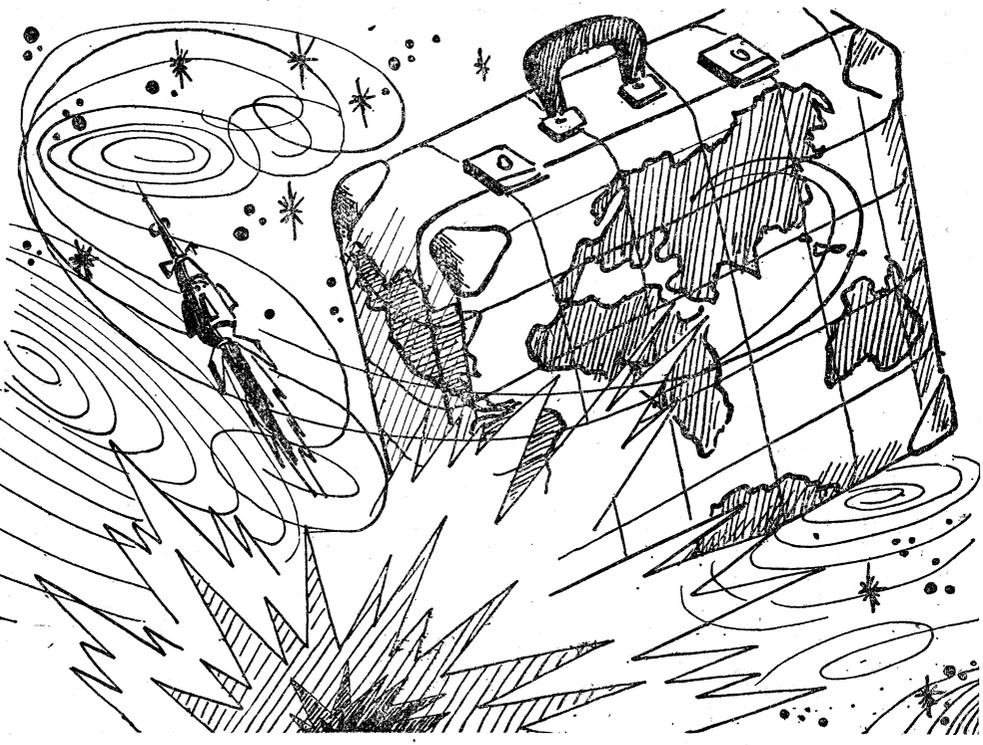
Э. Якубовский, Привет от «Ласкового мая», «Вечерний Свердловск», 2.06.89: «Коллектив «Ласкового мая» по-своему отметил вчера Международный День защиты детей. На один из концертов были приглашены пятьдесят воспитанников школы-интерната № 16 для детей-сирот и лишенных родительской опеки. Произошли изменения — новую группу набирает С. Кузнецов. Как сейчас идут дела?»

(Андрей Разин): — Сейчас мы создали Центральную творческую студию для одаренных детей-сирот при Всесоюзном молодежном центре Советского фонда милосердия и здоровья. Передали 170 тысяч рублей школе-интернату № 24 Москвы для ремонта и постройки нового здания».

Хит-парад («Московского комсомольца»), «МК», 9.06.89: «Не только музыка находится в состоянии «шалтай-болтай», но и растерявшиеся ее поклонники. Одуравшие, обезумевшие фанаты обнаглели вконец. Не нравится, как и о чем пишет Филинов — следует расправа. Аналогично нападению на Филинова совершенно зверское избиение администратора группы «Ласковый май» Андрея Фомина (...). Лучшие группы Советского Союза за май — «Ласковый май»...»



**РАЗДЕЛ
ВЕДЕТ
ПИСАТЕЛЬ
Г. Ф. ДРОБИЗ**



Герман ДРОБИЗ
Рис. Марины Богуславской

Вова на планете ТАРАРУМ

Эх, вы! Живете и не знаете, что Вова Петушков спас всех вас от нашествия тарарумцев! И вас, и вас, и вас — все человечество!

А мог бы, между прочим, и не спасать, потому что человечество его как раз перед тем крепко обидело — в лице учительницы географии: — Петушков, какую форму имеет Земля?

Ну никакой деликатности. Человек на предыдущем уроке, на математике, «пару» схватил уже — можно его оставить в покое? Разозлился Вова да как брякнет:

— Земля имеет форму чемодана!
Ну и, конечно, — опять двойка.

Сидит Вова за партой, печальный-печальный, задумчивый-задумчивый...

Тут его и умыкнули.
Свистнуло что-то за окном, полыхнуло фиолетовым пламенем — и нет Петушкова.

А умыкнули его разведчики с коварной планеты Тарарум. Задумали тарарумцы захватить Землю, но сначала все-все про нее узнать. Велено поэтому разведчикам захватить «языка», и чтобы старый был и мудрый. Чтобы все-все знал.

Вы, конечно, спросите: с чего они взяли, что Вова старый и мудрый? А с того, что на Тараруме время идет в обратную с нами сторону. Там как ночь наступает — все встают, идут работать и учиться, а днем дрыхнут. Рождаются вроде наших старичков, а чем дальше, тем больше на наших ребятишек смахивают. Вот и приняли тарарумские лазутчики Вову за старца. А поскольку сидел, глубоко задумавшись, — за мудреца.

...Как только прибыли на Тарарум, сразу доставили пленного в Совет мудрейших. Люди в почтенном тарарумском возрасте, поэтому Вова сначала решил, что привели его зачем-то к младенцам в детсад. Но странные младенцы — говорят, как взрослые, и сигары курят.

И задали ему с ходу такой вопрос:
— Какая у вас на Земле система в математике: десятичная, двоичная или еще какая?

— Не знаю, — отвечает Вова, — как в целом на Земле, а у нашего математика Игоря Петровича по отношению ко мне система двоичная. Одни двойки ставит. Систематически.

Переглянулись мудрейшины. Какая на самом деле на Земле математика, они, в общем-то, знали. Они мудреца земного хотели на искренность проверить. И не поймут: то ли у них предыдущие данные неверны, то ли землянин им мозги пудрит.

— А давайте, — предлагает один мудрейшина, — о чем-нибудь таком спросим, что мы знаем абсолютно точно. Например, форма их планетки.

А что, интересно, он скажет? Ответьте, уважаемый, какую форму имеет Земля?

Рассвирепел Вова: тот же проклятый вопрос на другой стороне Галактики! Сговорились они, что ли? И опять врезал:

— Земля имеет форму чемодана! А больше я ничего не знаю и ничего не скажу!

— Хитрый какой попался,— говорит старший мудрейшина.— Поди знай, как у них эта форма называется. Наведите справку, что такое чемодан.

Выяснили: чемодан на Земле—это контейнер для переноски личных вещей во время путешествий.

— Отлично!— обрадовался старший мудрейшина.— А мы-то все думали, как нашим десанникам землянами прикидываться. Вот и выход: забросим их на Землю под видом туристов и всех снабдим чемоданами привычной землянам формы! Молодец Вова. Дайте ему на прощанье компоту и отправьте обратно, где взяли.

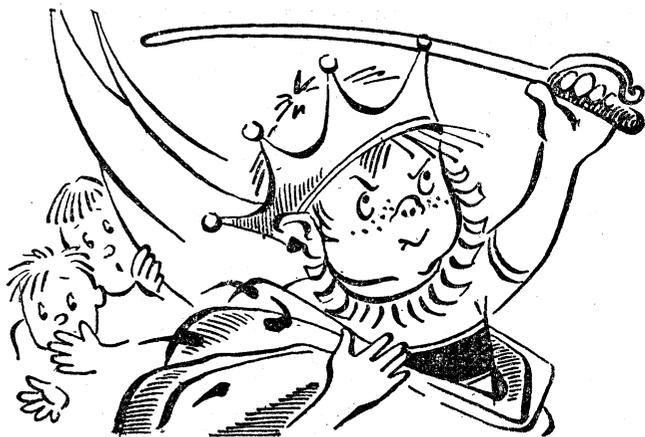
Выпил Вова тарарумского компоту два ведра—хороший компот. И не заметил, как за партой вновь очутился.

— ...Петушков! Специально для тебя объясняю в последний раз: Земля представляет из себя сферу сложной геоидной формы.

— Эх, Наталья Сергеевна,— говорит Вова,— скажите спасибо, что я этого не знал. Мне за это не двойку надо ставить, а памятник!

Конечно, потом были разговоры, что тарарумские «туристы» и без чемоданов выглядели подозрительно: младенцы с сигарами. Но с другой стороны, это еще не доказательство. Что скрывать, курят у нас некоторые дети, стыд им и срам. А тут и младенцы, и с сигарами, и еще чемоданы дурацкой формы—все сошлось. Всех быстренько выловили.

Прав Петушков Вова: молиться надо на двоичников. Они, конечно, на Земле впоследствии обязательно что-нибудь напорточат—ну и что? Отличники исправят. Зато двоичники никогда не выдадут тайну врагам. А если и выдадут—смертельную для врагов глупость. Вот!



Константин МЕЛИХАН

Король

Короли не знают покоя ни в мире, ни на войне, и чем выше они подняты судьбой, тем более дрожат за себя.

Эразм Роттердамский. Разговоры

В одной школе наметили к постановке пьесу. Режиссер собрал членов драмкружка и огласил список действующих лиц.

— Чур, я король!— сразу сказал Венька.

Все, конечно, тоже захотели быть королями, но Венька сказал:

— Во-первых, я первым сказал. А кроме того, у меня уже корона из картона заготовлена.

В общем, Венька уговорил всех выбрать его королем. И режиссер начал читать пьесу: пастух говорит то-то, свинарка—то-то, входит слуга, выходят солдаты. А короля все нет.

Венька спросил у режиссера:

— Вы короля случайно не проморгали?

— Король во втором акте будет,— сказал режиссер и дальше читает.

Кончил первый акт, второй начал.

Венька уже на стуле ерзает, спрашивает:

— Чего у вас король такой неразговорчивый?

А режиссер все читает да читает. А король все молчит да молчит.

Венька вообще со стула вскочил:

— Вы королю-то дадите слово?!

И тут режиссер читает:

«Король (появляется из дворца): ЖИВИТЕ ДРУЖНО!

Свинарка и пастух кланяются.

Занавес».

— И всё?!— ахнул Венька.— Выйти на два слова?!

— Так ведь в короне же,— сказал режиссер.

Венька тогда стал канючить, что и корона-то у него порвана, и рост для монарха маловат. Но желающих уже не было—играть такую микроскопическую роль. Начались репетиции.

На репетиции Венька вообще не ходил. Ему, собственно, и репетировать-то было нечего. Он только слонялся по коридорам и всем жаловался:

— Такую молчаливую должность подсунили! Выйти раз перед занавеской и вякнуть: «Живите дружно!» Прямо кот в мешке купил.

Наконец настал день премьеры.

В середине первого акта Венька в огромной короне выскочил из своего дворца на сцену и, взмахнув саблей, прокричал:

— Живите дружно!

Когда все на него зашикали: «Ты что, мыла поел? Не по расписанию вышел!»— он ответил, что плевал на все расписания с высокой башни.

— Я король!— сказал он.— И когда хочу, тогда и появляюсь из своего дворца.

Тут из дворца появился режиссер в лохмотьях нищего и, бухнувшись перед королем на колени, стал его умолять:

— Ваше высочество, не губите мою дипломную работу!

Венька заставил режиссера поцеловать ему руку и только после этого удалился.

Однако в начале второго акта Венька опять выскочил на сцену, но уже с черной повязкой на глазу.

— А ну!— крикнул он.— Живите дружно!

И обратил в бегство свинарку, произносившую страстный монолог. Свинарка с визгом носилась вокруг трона, а Венька за ней. Сабля его гроыхала, борода разведалась, а он орал:

— Живите дружно! Дружно живите! И не ссорьтесь! А то всех укокошу!

Хорошо хоть—вовремя подоспели слуги и торжественно уволокли короля за кулисы.

Правда, он еще пару раз с автоматом пытался прорваться на сцену, но слуги ему как следует разъяснили, когда можно появляться из дворца, а когда—нет.

Вышел Венька только в конце спектакля, как и положено королю. Его солдаты под конвоем вывели.

Свинарка нахлобучила ему корону, а солдаты подтолкнули к переднему краю сцены. Но Венька угрюмо смотрел в пол и молчал. Мантия его замоталась вокруг ноги, а борода сбилась на ухо.

— Говори, скотина!— подсказал ему пастух и дал по шее.

И тогда Венька поднял голову и сквозь слезы проговорил:

— Отрекаюсь. Отрекаюсь, к черту, от престола!



Борис МАТЮНИН

Выручайте, дядя!

Здравствуйте, дядя директор фабрики «Кожгалантерея». Пишут Вам Кочкин, Пирожков и Зайцев. Мы вместе учимся в четвертом классе и очень дружим. В воскресенье мы ходили в гости к Витьке Кочкину смотреть цветной телеик, у них здорово показывает! Перед мультиками видели Вас по телевизору. Вас ругал толстый дядя в галстук, министр. Он говорил, что Ваша фабрика делает никуда не годные вещи. Вы обещали перестроиться и показали новые ремни и сумки, которые будете выпускать. Когда мы увидели это, то очень испугались, а Витька Кочкин даже разревелся, как какая-нибудь девчонка-плакса. Выручите нас, дяденька директор, не перестраивайтесь, пожалуйста! Нам нравятся ремни, которые вы делаете на своей фабрике. Они тонкие и часто рвутся. Настоящая халтура, как говорят наши папы. Знаете, при порке таким ремнем даже щекотно. Очень просим, пока не станем большими, делайте прежние ремни. Мы и с ними вырастем полезными членами общества. Честное пионерское! Ну что Вам стоит! Если попадет Вам за это от дяденьки министра, так пусть Вашим ремнем. А это нисколечко не больно, поверьте нам!..

СЮРПРИЗЫ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ



Нина ШИРОКОВА

Рис. Аркадия Пяткова

«Борис Иванович посмотрел на Джонни и непедагогично предложил ему японскую жевательную резинку с пингвином на фантике», — читаем у Владислава Крапивина в «Мушкетере и феи».

- Вадим, что это за резинка, от которой так гордо отказался Джонни?
- Если японская и с пингвином, то это резинка фирмы «Лотте».
- Ты так думаешь?
- Да, она называется «Кулминт», то есть мята с холодком.

...А как их самих называют — собирателей оберток от жевательных резинок? Вадим считает: не исключено, что — филогамистами, от английского «chewing gum» (жевательная резинка).

Вадим Ушаков — свердловчанин, студент исторического факультета Уральского университета. Обертки от резинок он собирает с десяти лет. Нет, за границей у него никто не проживает, и никто из родственников и знакомых туда не ездит. Свою коллекцию он собрал сам. В ней — около 1100 оберток жевательной резинки со всего мира, а если быть точным, — из 51 страны, с пяти континентов.

Про резинку много всякого говорят. Одни говорят, что она препятствует образованию морщин, укрепляет дёсны, очищает полость рта. Утверждают, что с нею меньше перекуров. Другие считают, что жевание приводит к деформации костей лица и к тому же постоянное раздражение желудочно-кишечного тракта пользы не приносит. Мы не станем говорить ни «за», ни «против». Наша задача — рассказать о коллекции Вадима Ушакова. Если весь мир жуёт резинку, наверное, тут есть что порассказать...

Во всякой вещи важно содержание. Не о содержимом речь, хотя и о нем дальше будет сказано (кстати, Вадим многие резинки даже и не пробовал на вкус — ему важнее фантики). Разговор пока — о содержательности оберток.

На продукции многих фирм обращает на себя внимание совет — «завернуть в фольгу остатки». Это предостережение считается хорошим тоном. Дело в том, что жевательная резинка плохо разлагается, и изготовители считают своим долгом напомнить о возможном загрязнении окружающей среды. Не случайно на многих обертках нарисовано улыбающееся солнышко и написано: «Сохраняйте чистой вашу страну».

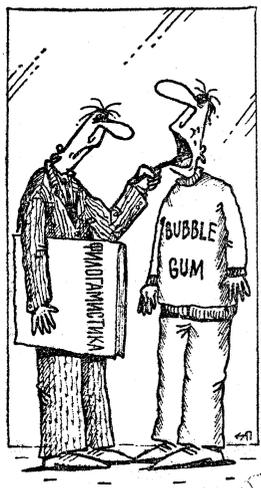
Американцы любят добавлять еще такие сопровождающие надписи: «Всё натурально. Нет сахара». Обозначают химический состав, указывают количество калорий... Но это, так сказать, информация делового порядка.

Гораздо интереснее само оформление оберток-фантиков. Оно, как правило, завлекательно. Почти у всех фирм популярны мультики и комиксы. Целый мультипликационный блок, с десятками сюжетов, — «Приключения Болека и Лёлека» — выпускается в Польше. Чешские сериалы «Пу-Пу» предпочитают сказки — «Спящую красавицу» или «Храброго портняжку». В ГДР популярны «Бременские музыканты», «Остров сокровищ» по Стивенсону. В ФРГ вкладыши посвящены сюжетам из мультфильма «Розовая пантера» или приключениям героев журнала «Фрэзи» Отто и Альвина.

Некоторые компании, например, «Топпс», «Дэнди», «Ригли», «Уорнер-Лэмберт» и другие — многонациональные предприятия со значительным капиталом. Так, ежегодная прибыль фирмы «Ригли» (в коллекции Вадима есть обертки из 10 стран, в которых фирма имеет свои филиалы) составляет более 3 миллионов долларов. О затратах же на рекламу и изобретательности фирм говорит, например, опыт итальянской фирмы «Перфетти». На ее обертках изображен Бруклинский мост. Рекламирует она, конечно, жевательную резинку своего производства, но как!.. «Перфетти» сняла фильм, который идет всего 30 секунд. А стоил фильм 700 миллионов лир! Представьте, сколько понадобилось затрат, чтобы возвести на одной из съемочных площадок убедительную видимость Бруклинского моста. Смысл киноленты и рекламного образа сводится к тому, что Бруклинский мост на удивление устойчив и надежен, потому что подвешен на жевательной резинке «Перфетти». Вот это реклама!..

Голландская фирма «Мейпл Лиф» производит знаменитые серии «Дональд» и «Фикс и Фокси» с комиксами по мультфильмам Уолта Диснея и Рольфа Кауки. В общем, везде связь, взаимопроникновение и реклама, реклама...

Обертки с мультиками особенно охотно рассматривают дети. Но и взрослые не обижены. Информация на обертках дается самая неожиданная и любопытная. Поль-



ская фирма «Одра» предлагает целую коллекцию бабочек, с надписями на польском и на латыни. Нигерия (по датской лицензии) выпускает серии «Животные океана», «Звезды поп-музыки», «Футбол». В блок кладутся вкладыши, на которых воспроизведены портреты известных футболистов, слайды с концертов модных рок-групп или, например, изображение медузы с информацией об этой морской обитательнице...

Всегда неожиданное содержание вкладывает в оформление своих оберток датская фирма «Дэнди». Вот, к примеру, набор морских татуировок: капитанских, шкиперских, матросских... Причем это не просто рисунки, а переводные картинки: стоит приложить к руке и — пожалуйста, вы будете козырять акулой, якорем или попугаем и вполне сойдете за «морского волка», уставшего рыскать по дальним странам... Любопытная серия «Флаг-парад»: внутри упаковки можно обнаружить четыре вкладыша с флагами разных стран; покупая новые упаковки, вы можете обзавестись коллекцией национальных флагов всего мира.

На оборотах южнокорейских оберток даны модели одежды и сам комплект — вырезай и примеривай на фигурку девочки, которая тут же, на обложке.

Японцы на своих обертках помещают переводные картинки, с инструкцией — как их перевести на ладошку; игры (например, сложный рисунок, который нужно прорисовать, не отрывая карандаша); изображение валюты всех стран, с лицевой и обратной стороной. Встречаются и всякие неожиданности. «Сверните картинку, как показано на рисунке, и попытайтесь подуть в нее». Если на рисунке две собачки — значит, будете подвывать или лаять. А можно еще трубить, верещать, мяукать... Или вот игра, которая называется «Рыцарь и сокровище» — это самый обыкновенный лабиринт, но японские ребятишки с удовольствием играют в «рыцаря и сокровище». Совершенно прелестные детские на обертках фирмы «Фуруйя» не предлагают игр, но собирать этот симпатичный «детсад» японцы тоже любят: такие краски, такое прекрасное исполнение — глаз не оторвать!

Но обертки — еще не всё. Чаше всего забавная информация или сюрприз содержатся не на обертках, а во вкладышах — цветных картинках.

На турецких вкладышах рекламируется новейшая техника: вертолеты, мотоциклы, водоплавающий самолет «Утка», автомобили, автобусы. Даются их параметры, технические данные. Дания тоже рекламирует новые средства передвижения, но она предлагает разные, допустим, мотоциклы на маленьких карточках типа лото, и вместе с ними правила игры. Югославы рисуют на вкладышах тройку крестей или пятерку бубен: купив все 54 упаковки, вы будете иметь колоду для покера. Есть у них и серия, где демонстрируются всякие фокусы, и очень красивая серия «Фламинго» — с краткими энциклопедическими данными о водоплавающих птицах. Чехи додумались до водяных знаков, их секрет в том, что иллюстрируют они, к примеру, «Храброго портняжку» — три иллюстрации видами, а четвертую надо на свет рассматривать. У чехов, кстати, есть интересная серия диких животных. А вот несколько борющихся фигурок: «Кто победит в этой борьбе?» — спрашивает надпись и рекомендует свернуть вкладыш по едва намеченной линии; из нескольких фигурок остается лишь одна — победитель в гордой позе. А изготовители жевательных резинок ФРГ рифмованным приглашением на нескольких языках предлагают определить, на что похоже некое чудо-юдо, у которого рога коровы, хвост собаки, а хобот слона...

Голландия рекламирует кинозвезд. Пакистан — свои архитектурные памятники. Нигерия — родео... Американская фирма «Топпис» в своей серии «Приключения Базуки Джо» предлагает незатейливые диалоги на двух языках и призывает: «Изучайте французский!» Понятно, что юмористические диалоги переводить куда интереснее, чем академические тексты.

Во многих фирмах распространена игра на эквивалент — это тоже старый рекламный прием. Если покупатель собрал все 48 комиков и выслал их в подтверждение, фирма дарит ему сувенир, например, подвеску с его знаком зодиака. В Швейцарии выпускают вкладыш с наставлениями, как вести себя детям. Эту наставлений — 150! Кто купит все и прочтет — будет не только воспитанным человеком, но еще и получит в подарок от фирмы сувенирную маечку...

Так что пропагандой «сомнительных ценностей», если судить по коллекции Вадима Ушакова, западный мир не грешит. Нет ни порнографии, ни пропаганды милитаризма... Зато «грешит» другим — прекрасным дизайном, великолепной цветовой гаммой и очень богатой выдумкой!

Теперь — о форме. Мы привыкли к двум стандартам жевательной резинки — в форме ирисовой конфетки или пластика. В мире же существует множество самых разных форм. Фирма «ОК» в ФРГ выпускает как традиционные пластики (их стандартная упаковка — пять штук по три грамма), так и нетрадиционные, удлиненные, обертки которых напоминают оболочку наших маленьких шоколадок. В Югославии упаковки резинки сделаны, как пачки сигарет, и сами резинки, как сигаретки, вытянуты в трубочку; есть и форма больших сигар. Венгры выпускают резинку в виде таблеток или конфет-«подушечек». В Южной Корее — шарики. В ФРГ резинка дли-и-и-нная, и название у нее подходящее: «Веселый поезд». В Дании делают коробочку с лихим паренком в матросской шапочке на крышке: открываешь этот «пиратский сундучок» — и видишь 200 «старинных монет».

Все очень нарядно, неожиданно и занятно!

...А что же главное, внутреннее содержание — то есть вкусовые наполнители, ароматы?

Поразительно палитра фруктовых и ягодных начинок: вишня, яблоко, банан, слива, виноград, ежевика, абрикос, ананас, тутти-фрутти (всякая всячина — буквально)... Есть

⊙ В 1850 году американец Томас Адамс (отсюда, кстати, название популярной резинки) использовал смолу каучуконосов для изготовления жевательной резинки. Самое интересное, что Адамс и не помышлял об этом: он пытался изготовить... шины для конных экипажей. Но материал оказался слишком мягким. А новый продукт так понравился американцам, что с той поры резинка и начала свое победное шествие по всему миру.

⊙ Сок тропического дерева саподиллы (сапонарии) и сейчас продолжает оставаться исходным сырьем для жевательной резинки. Чикл, свежий сок саподиллы, похож на коровье молоко, он быстро густеет на воздухе и превращается в липкую массу. Лучший чикл добывается в Мексике. Кто-то, наверно, встречал резинки разных стран с названием «Чиклетс» — это означает, что в их состав входит натуральный чикл. Но как бы ни была велика Мексика, чикла стало не хватать. Пошли в ход другие натуральные латексы — гуттаперча, джелутонг, гутта-кальян, сорва. Органическая химия добавила поливинилхлорид и поливинилацетат, другие очищенные полимеры, которые не твердеют и не прилипают к зубам. В полимеры добавляются наполнители, пластификаторы, сахар, смягчители, вкусовые и ароматные добавки.

⊙ В России с давних времен популярна смола хвойных деревьев. В ней содержатся фитонциды и другие органические соединения, пагубно действующие на микробов. Охотники и лесорубы Сибири до сих пор не расстаются с нею. Чикл жевали индейцы, древние греки — мастиковую смолу... Так что аналоги резинки популярны у многих народов издавна. Но как

продукт цивилизации жевательная резинка появилась более ста лет назад, а в Европе ее узнали лишь после первой мировой войны (патент был выдан в США в 1871 году).

⊙ В 30-е годы нашего века Америка производила жевательной резинки на 60 миллионов долларов; в 1963 году в этой стране было выпущено ее 120 000 тонн. В Австрии этого товара, например, продается ежегодно на 400 миллионов шиллингов. В СССР в 1981 году резинки произведено 8000 тонн. Даже из этих, разрозненных и неоднородных, данных видно, как мы отстаем.

⊙ Сингапурские власти ежегодно тратят 70 тысяч долларов на ремонт мебели, испорченной жевательной резинкой. Ипользованную «жвачку» куда только не приклеивают: к столам и стульям, к стенам в кинотеатрах и ресторанах... Власти даже делали попытку запретить жевать резинку. Но может быть и другой выход. Если фирма «Ригли» имеет от продажи резинки ежегодный доход до трех миллионов долларов, то пусть она и тратится на ремонт...

⊙ Эффективность гамма-база — советской антитабачной резинки — 92—96 процентов. 90 человек из 100 — это уже огромное достижение в борьбе с курением. В Белоруссии была изобретена вместо резинки пленка — ее можно держать во рту 12 часов кряду, и ни жевать, ни разговаривать она не мешает.

⊙ В Праге в клубе коллекционеров курьезов есть отделение филогамистов. Наибольшая коллекция оберток — у Зденека Писсаржского: около 7000 экземпляров.

корица, гвоздика, ликёр, кофе, йогурт (молочная добавка), множество цветочных и травяных добавок. Есть и лекарственные — бессахарная (диабетическая), антитабачная, резинки с элеутерококком, женьшенем, валидолом...

Очень широко распространены во всем мире наполнители из мяты. Концентрация добавки обозначается или сочностью и густотой цвета обертки, или надписями: тендерминт — «молодая» мята, даблминт — двойная концентрация, спизминт — с добавками из курчавой мяты (есть и такая), спешиапминт — специальные сорта мяты, экстраминт — очень большое наполнение и т. д.

Только в Японии выпускают резинку 150 видов, начиная от «зеленого чая» и кончая антитабачной. Разные народы предпочитают разные ароматы и вкусы: корейцы — цветочные: ароматы хризантемы, розы, сирени; американцы — начинки из винограда и корицы; африканцы обожают привкус мускуса, западногерманцы — ментола...

Жевательная резинка СССР представлена в коллекции Вадима 185 обертками. Начали ее выпускать с 1977 года, и сейчас во многих городах производят этот продукт, не только в Москве, Ленинграде, Таллине и Ереване, где ее освоили раньше всех. Наполнители у нас скромнее: клубника, малина, мята, апельсин. Ввели недавно кофейную добавку, научились делать антитабачную резинку. Таллинцы сейчас добавляют аромат ореха. Но в широком ассортименте мы еще не видим этой продукции. То ли пищевая промышленность не привыкла пока, то ли мы сами... Кстати, в Армении в первые годы даже страдали от переизобилия резинки — люди в нашей стране стеснялись жевать, и спроса не было. Хотя как раз в Ереване был весьма ценный опыт изготовления резинки с лекарственными начинками — с валидолом, витаминами.

Проигрываем мы и в полиграфическом исполнении. Печатная продукция одна и та же, и разнится только маркой, товарным знаком. А о выдумке и сюжетах и говорить нечего... Хотя сколько у нас могло бы быть своего!.. От медведей и журавлей до рисованных лубочных пословиц и поговорок, от прекрасных наших сказок до «Ну, погоди!»... Нет, насчет «Ну, погоди!» — несправедливо. Как раз на тему этого мультяка выпускались резинки в Ленинграде, Душанбе и Свердловске. А Омск вышел даже на «Буратино»... Но как всего этого мало, мало... Если учесть популярность резинки среди детворы и молодежи, — сколько можно доставить радости, дать умных советов, предложить простых и веселых игр.

А пока лишь кондитерская фабрика «Калев» в Таллине робко предлагает сюжеты с обезьянками и автомобильчиками да фабрика «Пяргале» в Вильнюсе рисует на обертках гномиков. Кстати, коробочку с гномиками Вадим считает своим самым редким советским экземпляром! Легче иногда заполучить если не резинку, то по крайней мере обертку более чем из 50 стран мира: Австралии, Мадагаскара, Панамы, Чили, Сирии, Канарских островов, Новой Зеландии, Израиля, Марокко, Сан-Марино, Таиланда, Ирана... — со всех континентов, — чем свой, отечественный экземпляр...

— Да, во многих городах стали делать жевательную резинку. Но ведь ее до сих пор нет в магазинах. А пока наши предприятия разворачиваются, разные доморощенные дельцы торгуют в парках и на улицах сомнительной «жвачкой»... Да и среди государственных предприятий диву даешься, кто только этим не занимается! Ладно бы кондитерские фабрики, а то какие-то хлебозаводы, химкомбинаты... В Бийске химкомбинат выпускает резинку и, скажу вам, вкус у нее ужасный!... — лицо Вадима становится кислым.

...Что ему дает это увлечение, кроме удовольствия коллекционера? Во-первых, чисто эстетическое наслаждение от прекрасного художественного исполнения, цветовой гаммы, полиграфического совершенства. Во-вторых, иногда просто энциклопедические знания от информации, вложенной в обертку. В-третьих, чисто детскую радость при виде комиксов и мультяшек и наивно-восторженное ощущение игры, а игра придумывается очень много! В-четвертых, приходится заглядывать в самые разные словари, и не только за обозначением, но и за произношением. Вот, например, югославская фирма названа по имени владельца — Йосипа Краш. Краш, Крач или Кратч? Уже надо разбираться, что там как звучит. Вадим переводит с английского и французского, теперь и в немецком приходится по необходимости копаться, и в других европейских языках.

— А цена, Вадим?.. Стоит тебе это что-нибудь?

— Ну, например, за первую свою австралийскую обертку, мне как раз не хватало «зеленого» континента, я отдал олимпийский рубль...

— А самая первая обертка какая была, и откуда она у тебя появилась?

— Первой, из ГДР, меня угостили в Алма-Ате... В 1978 году. Даже день помню: 21 августа. Вторая была алжирская... Остальные — где как: меняюсь, присылают многие люди, хотя бы раз увидевшие коллекцию, крайне редко покупаю. Вообще, на сегодня у меня уже есть хороший обменный фонд. На это я больше и надеюсь.

Мы тоже надеемся, что эта любопытная коллекция расширится. И, знаете, может быть, даже не из-за самой резинки, к которой, пожалуй, мы до сих пор привыкаем трудно. А именно из-за оберток. В них так много открытий, неожиданностей, красоты. И сюрпризов!..





9-152

Рыба-луна